

29887.26
Т24 $\frac{5}{80}$ X

—
КОМСОМОЛ

1.4
3/4
4



ПОДПОЛКЪ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

~~10710~~
Т24 $\frac{5}{80}$
~~3~~
~~24~~

КОМСОМОЛ ²¹⁵⁶ В ПОДПОЛЬИ

РАССКАЗЫ И
ВОСПОМИНАНИЯ

издание 2-е

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1925

~~6-K-63~~

Отпечатано в типографии изд. „Молодая Гвардия“. Ленинград, В. О., 5 линия, 28, в количестве 10.000 экз. Ленинградский Гублит № 14449.

О. Эрдберг

ЗАЖГИТЕ СПИЧКУ!

В подкладке пиджака зашит мандат одесского губкома КСМ:

„Направляется в Крым для установления связи с подпольной организацией РКП и РКСМ.. для формирования боевых дружин и контр-разведок...

Подпись: Нач. военного отдела Губкома“.

Улицы Симферополя залиты солнцем. Шумно. Вокруг—большие блестящие витрины магазинов. В окнах „Освага“—плакаты с изображением Троцкого: красный чорт верхом на колокольнях Кремля. Конец сентября, но жара и духота невыносимые. Грязный татарин в пестром халате продает на лотке виноград и груши „дюшес“. Подхожу к лотку, опускаю руку в карман.

— Ах, чорт возьми! Денег ни копейки!

Уже третий день я в Симферополе. Явок у меня нет. Ломаю голову над тем, как найти связь с подпольной организацией. Подполье настолько придушено террором белых, что в рабочем клубе никто не появляется.

Решил следить на улицах. Не может быть, чтоб я не узнал никого из большевиков; глаз у меня привыкший—по внешнему виду узнаю. Только побольше толкаться там, где скопляется много публики: в саду, в парке, и главное—терпение!

Однако, если я не найду связи в течение ближайших двух-трех дней, будет скверно, денег больше нет, значит, жить невозможно.

Сворачиваю в городской сквер. За эти три дня я уже много раз ошибался: прошлый раз увидел высокого молодого человека с длинной шевелюрой, реденькой бородкой и „Социологией“ Кареева в руках. Думая, что „наш“, пошел за ним, но, увы, он зашел в собор и оказался регентом церковного хора.

Вчера полдня следил за неповоротливым хлопцем в косоворотке, но к вечеру выяснилось, что он просто служит в аптеке и разносит лекарства на дом.

Все-таки в сквере мне определенно везет. Уже два раза мне удалось видеть, как там за павильоном встречаются какая-то нарядная гувернантка с двумя девочками и молодой армянин, на вид рабочий, маленький, грязный, юркий. Поговорив, армянин уходит далеко за город, туда, к литовским казармам. О любовном свидании здесь не может быть и речи. Слишком неподходящие друг другу люди. Встречаясь, о чем-то подолгу спорят. Армянин показывает газету. Детей гувернантка отсылает в сторону и все время оглядывается: нет ли кого поблизости. На этот раз армянин опоздал, но опять, как только он пришел, гувернантка отослала детей поиграть.

Маленькая пухлая девочка роется в золотом песке—строит „домики“ у самых моих ног. Незаметно ее подзывают...

— Девочка, как тебя зовут?

— Оля.

— А это твоя мама?

— Нет, бонна.

— А где вы живете?

— На Дворянской, 20.

— А твоя бонна уходит когда-нибудь?

— Вечером, когда уложит нас, уходит.

Ага! Хорошо... клюет!

Как только стемнело, я уже дежурю на Дворянской. В 9 часов из парадного подъезда вышла бонна, оглянулась и пошла вниз по улице. На углу к ней подошел студент.

Оклик:

— Миша!

Гуляли вверх и вниз по улице часа полтора—я терпеливо следил за ними на другой стороне. Когда они расстались, студент пошел по Пушкинской, а около „кафе-концерта“ к нему присоединился армянин.

Так, так—дело налаживается.

Сделав большой крюк, мои жертвы подошли к „союзу иглышников“, как раз в то время, когда секретарь союза, исполнявший также обязанности сторожа, уже закрывал помещение союза на ключ. Запили в союз, а через несколько минут вышли и разошлись в разные стороны. Я хотел пойти за армянином, но тот уже увидел меня, быстро опустил правую руку в карман. Быстро удаляюсь.

Очевидно, я напал на след. Но проверить нельзя—нет времени. Надо рискнуть!

На следующее утро я вхожу в союз и подхожу прямо к секретарю.

— Я, товарищ, приехал из одесского губкома, член партии. Мне нужно видеть кого-нибудь из Союза Молодежи. Вот мой мандат.

Старик подозрительно осматривает мандат, затем меня:

— Кто вас сюда послал? Кто вас знает?

— Меня знает Миша. Послали сюда с Дворянской, 20.

— Ах, так! Приходите вечером.

Я боялся, что старик пойдет проверять, действительно ли меня послали с Дворянской, и потому весь день наблюдал за союзом. Но ничего подозрительного нет. Вечером старик познакомил меня с молодым рабочим, табачником. Я еще раз предъявил свой мандат, и меня повели к „председателю союза“. В комнате с прикрытыми ставнями на кровати сидел какой-то парнишка, лица не было видно, так как в комнате было темно. За перегородкой назойливо стучала швейная машина.

- Вы, товарищ, откуда?
— Из Одессы.
— Из Одессы? Я там был. Югова знаете?
— Знаю.
— Федорова, Поляка?
— Знаю.
— Максимова, Эрдберга?
— Что за чорт? Зажгите спичку!

Ярко вспыхивает спичка, освещает мое лицо и лицо моего собеседника. Мы моментально узнаем друг друга.

Мой собеседник приезжал из Крыма в Одессу в 1918 году во время гетманщины, когда мы проектировали южно-русский съезд союзов молодежи. Я тогда был казначеем союза, и парень получал от меня деньги на обратную дорогу. Мы быстро столковались. Я рассказываю, как нашел его. Парень удивленно качает головой.

— Ты попал на явку анархистов. Армянин—это наш...

Рассказывает о Комсомоле. Большинство товарищей ушло с Красной армией во время отступления. Из активных союзников осталось человека три-четыре. Работать будет трудно. Все ячейки развалились.

— А теперь,—добавляет он,—надо идти в партком успокоить публику насчет твоего обмана—скоро он выяснится.

Когда армянин увидел меня, он снова схватился за браунинг, лежавший на столе. Но его быстро успокоили.

— Нельзя, товарищ, так! Я мог вас пристрелить давеча...

Самое трудное сделано: связь найдена.

Н. Н

ЧЕТЫРЕ ВЕРСТЫ

1. Заветная мечта.

С тех пор, как Красная армия заняла Тамань, Гриша чувствует себя, как в лихорадке. Торчит целыми днями на набережном бульваре и глаз не сводит с узкой песчаной косы, что на том берегу.

— Вот она... рукой подать, заветная Таманьская коса. Всего четыре версты!..

Какие только мысли не роятся в голове у Гриши. Уже несколько раз порывался он сесть в шлюпку, как будто покататься... налечь на весла—и прямо туда, к тому берегу, к красным, но сдерживался. Сдерживался не потому, что на горизонте торчит истребитель и на шлюпке нельзя будет проскочить. Нет, опасность его не страшит, рискнул бы... Сдерживает другое.

Он, Гриша, член подпольного комитета Коммунистического Союза Молодежи, и уехать теперь из Керчи, теперь, когда террор белых проявляется особенно резко, когда подпольная организация так нуждается в самоотверженных бойцах—не будет ли это дезертирством?

И Гриша подавляет порыв и, унылый, уходит с бульвара, чтобы не смотреть на косу, не вводить себя в искушение. А искушение велико... Недаром наутро он, против собственной воли, вновь приходит на бульвар и, усевшись на скамейку, как загипнотизированный, вновь устремляет свои большие черные глаза на восток.

Почти два года, как работает Гриша в подпольи. Два долгих мучительных года. Много пришлось ему пережить: и радостное удовлетворение своей работой, и тяжкую скорбь по казненным товарищам, и ожесточение, и жажду мести палачам. Были и минуты отчаяния. Вспоминает Гриша прошлогоднее восстание в каменоломнях и судорожно сжимает кулаки. Еще и теперь живы в его памяти груды изуродованных тел, валявшихся на улицах Керчи. В крови затопили денкинцы восстание. Больше тысячи рабочих расстреляли в тот памятный день. Расстреливали без разбору—правых и виноватых, кто в руки попадался. Тяжелые дни пошли после восстания для Гриши. Несколько месяцев скрывался он в сарае у своего дяди, сапожника. В отчаянии хотел покончить с собой, но, к счастью, подпольная организация возобновила работу, и Гриша бросил сарай, бросил с твердой решимостью умереть или отомстить за смерть товарищей—и уже 8 месяцев ведет активную подпольную работу, без колебаний и без страха участвуя в самых опасных операциях.

Мысль покинуть поле сражения и уехать в советскую Россию до сих пор ему и в голову не приходила. Но вот уже неделя как Гриша потерял спокойствие. Как только красные заняли Тамань, он с мучительной остротой почувствовал, что больше не может, что задыхается в этой тлетворной обстановке белогвардейского разгула.

— Один денек пожить бы там среди своих, без ненавистной маски...

Грише казалось, что один день, проведенный в советской России, вдохнет в него свежие силы для дальнейшей борьбы. О том, чтобы уехать совсем, он не думал и теперь. Но как это сделать? Обратиться к подпольному комитету партии с просьбой отпустить он не решался:

„Не позволят... Скажут: опасно... Да могут подумать, что сдрейфил, что не вернусь...“

И так, не находя выхода, мучимый сомнениями, он ежедневно приходит на бульвар и с тоской поглядывает на Таманскую косу.

2. Наконец-то!

Однажды—это было 21-го марта 1920 года—Гриша, вернувшись с бульвара домой, нашел у себя на столе написанную на измятом клочке бумаги коротенькую записку:

— Заходил два раза. Очень нужен, приходи в 8 часов к И.

Подписи не было, но Гриша сразу узнал почерк Антона, одного из членов подпольного комитета партии.

„Что бы это могло быть?—встревожился он,—ведь мы сегодня утром с Антоном виделись“.

Зная, что осторожный конспиратор Антон зря записок писать не станет, Гриша понял, что его ждут у Ибрагима по важному, а главное, по срочному делу. Еще не было восьми, когда он постучался в дверь убогой, скосившейся на бок избушки, где в семье рабочего металлиста жил секретарь подпольного комитета партии, Ибрагим.

Войдя вслед за открывшим ему дверь Ибрагимом в комнату, он увидел сидящего за столом незнакомого молодого человека, лет 24-х. Последний, вопросительно взглянув на Ибрагима, спросил:

— Это и есть Гриша?—И получив утвердительный ответ, продолжал, уже обращаясь к Грише:—Садитесь, товарищ, мне с вами нужно поговорить.

Оказалось, что это уполномоченный подпольного Крым-областкома РКП, Нютин, приехавший в Керчь обследовать состояние местной организации. Расспросив Гришу о работе Комсомола, он вдруг совершенно неожиданно спросил:

— Скажите, а вы бы согласились поехать в советскую Россию?

У Гриши сперло дыхание. От волнения он ничего не мог ответить. Нютин принял его замешательство за нерешительность и успокоительно произнес:

— Я это, товарищ, так спрашиваю, на всякий случай, если понадобится...

Тут Гришу прорвало. Сбивчиво, волнуясь, он стал изливать перед Нютиным свою наболевшую душу. Он весь горел... Нютин понял, что не страх—причина его замешательства, что этот пылкий юноша, если ему позволят, вплавь пустится через пролив. Дав ему успокоиться, он сказал:

— Ну, хорошо... Вы поедете. Завтра мы узнаем подробности отставки Деникина, и, может быть, завтра же вечером—в путь... Вы будете готовы?

Будет ли он готов! Да он хоть сию минуту поедет! Гриша буквально задыхался от радости. Наконец-то его заветная мечта осуществится!

Лежавший во время этого разговора на диване Ибрагим приподнялся и покровительственно похлопал Гришу по плечу:

— Я, брат, знал, что ты не откажешься,—и, взглянув на часы, продолжал:—Ты пока иди приводить в порядок комсомольские дела, а завтра получишь инструкции.

Гриша хотел было спросить, каким путем придется ехать и одному ли, но Ибрагим шутя зажал ему рот и с улыбкой произнес:

— Завтра, завтра все узнаешь, а теперь проваливай, да поживей.

Не чувствуя под собой от радости ног, Гриша побежал готовиться к отъезду. Надо было тотчас же разыскать Виктора, чтобы сдать ему дела по комитету молодежи.

— Скажу, что в Симферополь еду,—решил он.

Домой Гриша вернулся поздно ночью. Вернулся усталый, но все еще радостный и возбужденный. Долго не мог заснуть, все ворочался с боку на бок, мысленно представляя себя уже там... в советской России.

Полагая, что его командировка вызвана необходимостью сообщить красным о состоявшемся как раз в этот день отречении генерала Деникина, Гриша решил, что и генералам иногда приходят в голову гениальные мысли, и... уснул.

3. План захвата Керчи.

Керченский подпольный комитет партии разработал план операции, осуществление которой дало бы возможность красным войскам, расположенным на Тамани, высадить на Крымский берег десант, захватить при содействии подпольной организации Керчь и оттуда начать наступление вглубь Крыма.

Жители прилегающих к Керчи прибрежных деревень были настроены по отношению к добровольцам враждебно. Между тем береговая охрана была очень незначительна и несла свою службу кое-как, спуская рукава, так как возможности десанта со стороны красных никто не допускал, и отряду Керченского комитета эту охрану разоружить не представляло бы труда. Отряд состоял из шестидесяти человек, вооруженных винтовками и двумя пулеметами, и скрывался в каменоломнях, верстах в трех от расположенного на самом берегу моря села Опасного, в котором находился штаб береговой охраны. Жители села, частью рабочие керченских заводов, частью рыбаки, относились к отряду очень сочувственно, снабжали его провиантом и в разоружении охраны оказали бы ему самое широкое содействие. Так обстояло дело на побережье Керченского пролива, прилегающего к Азовскому морю; что же касается побережья, прилегающего к Черному морю, то-есть Керченской крепости, то там тоже все было подготовлено. В крепостном гарнизоне была довольно многочисленная партийная ячейка, которая брала на себя в нужный момент снять со всех орудий замки, а в крайнем случае даже поднять в крепости восстание.

План операции, разработанный Керченским комитетом и утвержденный Областкомом в лице Нютина, сводился к следующему:

Предполагалось, что красные войска подготовят небольшой десант, сабель в 600. Когда у них все будет готово и десант этот сможет двинуться к Крымскому берегу,

они дадут об этом знать или путем ракеты, или путем орудийного выстрела высокого разрыва. Это будет сигналом к выступлению как в крепости, так и на побережье, и к тому моменту, когда десант пристал бы к побережью, береговая охрана была бы уже разоружена, и он беспрепятственно высадился бы. Восстание в крепости и паника, которая неминуемо началась бы в городе, гарантировали бы захват Керчи.

Для осуществления задуманной операции прежде всего нужно было связаться с красными. Керченский комитет решил командировать в Тамань Антона Рыжих (члена комитета), но так как последний был на сильном подозрении у контр-разведки, то было решено, что он уже в Керчь до занятия ее красными не вернется. Вместе с Антоном Керченский комитет, не будучи уверен, что красное командование предлагаемый план примет без всяких поправок, решил направить еще одного товарища, который, получив указания командования, вернулся бы в Керчь.

Выбор комитета пал на комсомольца Гришу Левина, и в результате 21-го марта у Гриши на столе очутилась записка Антона с предложением явиться к секретарю подпольного комитета партии, Ибрагиму.

4. Будь к девяти!

Гриша проснулся поздно. Теплые лучи весеннего солнца пробивались в окно. В комнату доносился шум улицы. Гриша торопливо оделся и, наскоро позавтракав, побежал на... бульвар. Захотелось еще разок взглянуть на косу. Мысль, что он скоро-скоро, может быть, сегодня ночью, будет там, радостно волновала. Об опасности, сопряженной с переправой, он не думал... На бульваре Гриша долго не просидел. Вернулся домой.

„Может быть, за мной уже присылали...“ — думал он.

Но нет, записки на столе не видать... Подмывало желание сходить к Ибрагиму, но Гриша не пошел.

„Это уж будет совсем по-детски, — решил он, — ведь, когда понадобится, за мной пришлют“, — и улегся с книжкой на диван.

Медленно тянулось время, мучительно медленно. Гриша смотрел в раскрытую книжку, но не читал. Буквы прыгали в глазах, сливаясь в какую-то бесформенную массу. Нетерпение, смешанное с острым любопытством, не давало сосредоточиться.

— Когда поеду? Как поеду?... Один ли? — вихрем кружились в голове вопросы. Ведь ему не сказали даже, зачем его посылают. Грише сделалось немного обидно, но он это чувство тотчас же преодолел, — не сказали, значит, так надо... комитету виднее.

В нетерпении поглядывал он на часы. Наконец, когда Гриша уже собрался пойти обедать, в комнату неожиданно вошел Михаил, рабочий, у которого жил Ибрагим, и, поздоровавшись, протянул Грише записку.

„Едешь сегодня, будь у меня к девяти. И.“, — прочитал Гриша и от радости чуть не бросился Михаилу на шею.

„Еду, еду... сегодня, сегодня“, — как молотком, застучало в голове. Все остальное сразу ступсывалось: и зачем, и с кем, и как — об этом Гриша уже не думал, — не все ли равно? Он едет, а это — главное!

5. В стенах крепости.

На дворе стояла непроглядная темень. Грозовые тучи обволакивали небо и застилали свет звезд. По дороге, ведущей к крепости, быстро шагали три солдата добровольческой армии. Достигнув крепостного рва, они свернули в сторону и, пройдя шагов 50, остановились.

— Ну, ребята, теперь будем спускаться, — шопотом произнес один, — крутовато здесь... Вы тихонько за мной, — и, раздвинув густые кусты, исчез в бездне.

Другие двое, неуверенно передвигая ноги, последовали за ним. Ежеминутно рискуя сорваться, добрались до ручейка, протекавшего на дне рва.

— Ну и дорожка!—вдохнул один из шедших позади. Проводник беззвучно рассмеялся.

— Подожди, не то еще будет! В крепость пробраться—это, брат, не шутка. Особенно с непривычки. Мне вот ничего, привык.

Действительно крепостной радио-телеграфист Александр к этой дороге привык. Сколько раз приходилось ему таскать в крепость кипы нелегальной литературы! Через ворота не понесешь! Поневоле привык к обрывам.

Антон же и Гриша—это были они—для большей безопасности переодетые солдатами, по этой дорожке пробирались впервые.

Ручеек перешли вброд. Свернули налево—и пред ними, как из-под земли, выросла высокая каменная стена. Антон и Гриша оторопели:

— Вот те и раз!—произнес последний,—куда ж теперь? Александр не смутился.

— А вот посмотрите,—и уцепился руками за один из выступавших несколько вперед кирпичей.

Кирпич подался. За первым последовал второй, третий, и вскоре перед изумленными спутниками Александра в стене образовалось внушительное отверстие. В это отверстие, один за другим, они все втроем и протиснулись. Перетащили кирпичи, заделали отверстие и двинулись дальше по какой-то каменной лестнице вниз.

Почти час кружили при свете карманного электрического фонарика, зажженного Александром, по извилистым подземным коридорам. Думали, конца не будет. Но вдруг в лицо ударила струя свежего воздуха и донесся шум падавшего дождя. Антон и Гриша поняли, что катакомбы кончились. Действительно, Александр потушил фонарь и, обернувшись к ним, прошептал:

— Вы тут минуты две постоитте, а я пойду взгляну, нет ли кого вблизи,—и скрылся.

Антон и Гриша опустили на корточки и, прислонившись к стене, стали терпеливо ждать. Ждать пришлось недолго. Почти тотчас же вернулся Александр

и повел их дальше. Пересекли небольшую лужайку и вошли в неосвещенную избу.

В избе Гриша разглядел несколько теней.

— Не бойтесь, свои,—предупредил Александр и, обратившись к одному из сидевших в комнате, сказал:— Сбегай-ка, Павел, взгляни, стоит ли лодка?

Павел молча вышел. В комнате воцарилась напряженная тишина. Каждый был занят своими мыслями. О чем-то упорно думал и Гриша. О чем? Не о том ли, что, согласно приказу керченского градоначальника, все, обнаруженные без пропуска в крепости, подлежат военно-полевому суду, как шпионы? Нет, не о том! Гриша ведь знал, на что идет! В его воображении одна за другой мелькали картины.

Вот они уже на Таманском берегу, вот Гриша бросается на шею первому встретившему их красноармейцу... Дальше десант... Керчь в руках красных...

Хлопнула дверь, и Гриша очнулся.

Вошел Павел и что-то шепнул Александру; последний взглянул на часы с светящимся циферблатом и произнес:

— Ладно, иди, а мы,—продолжал он, обернувшись к Грише и Антону,—еще минут с 15 посидим.

Павел снова ушел. Гриша заволновался, не случилось ли чего-нибудь.

„А вдруг поездка не состоится...“—мелькнула беспокойная мысль.

Но все было в порядке. Крепостная ячейка, получив задание организовать переправу на Тамань, предусмотрела все мелочи. Еще на рассвете скрыла среди камней небольшой ялик, незаметно доставленный по морю в крепость, приготвила весла, озаботилась, чтобы среди караульных было побольше членов ячейки, и даже устроила так, что часовые (не коммунисты), которые должны были с двенадцати часов ночи стоять на самом берегу, предварительно напились пьяными да еще захватили по бутылочке с собой в караул.

6. Через пролив.

Гриша и Антон опять в сопровождении Александра вышли из избы и направились к морю. Крадучись, обогнули казармы, перелезли через невысокую, но обтянутую колючей проволокой ограду и очутились перед обрывом, еще более крутым, чем тот, по которому они спускались в крепость.

Вдруг темноту прорезал яркий сноп света... Это крепостной прожектор шупает Таманский берег... Весь пролив и часть косы, как на ладони.

„Сорвалось, — с тоской подумал Гриша, — при такой иллюминации не поедешь“.

— Ложись, — прошептал, опускаясь на землю, Александр, — придется обождать... Копаются черти...

Но не успели Антон и Гриша лечь, как световой сноп затрепетал и исчез — это Павел испортил прожектор.

Через несколько минут они уже были у моря. Ночь после ярко вспыхнувшего и потухшего прожектора казалась еще темнее. В двух шагах не видно было ничего, но Александр это место знал хорошо. На мускулах спустился он с высокого камня в лодку, приладил весла, обмотал их тряпками, чтобы при гребле не стучали, и помог спуститься Грише и Антону. Гришу охватила нервная дрожь.

— Неужели едем? — не верилось ему.

— Садись на руль, — тоже, видимо, волнуясь, прерывающимся шепотом проговорил Антон и взялся за весла.

Александр нервно пожал обоим руки, перерезал веревку и, оттолкнувшись от лодки, повис на камне. Ялик покачнулся и, вздернутый ударом весел на гребень волны, скрылся в темноте.

Гриша облегченно вздохнул и, до боли напрягая глаза, старался держать лодку прямо на косу. Минут 15 ехали молча. Антон греб изо всех сил. Когда от'ехали от крепости довольно далеко, он наконец перевел дух и весело произнес:

— Ну, пронесла нелегкая... выскочили...

Действительно, со стороны белых им уже опасность не угрожала. До Таманской косы осталось не больше версты.

Но ветер все крепчал. Ялик бросало с волны на волну, как щепку, и гнало в открытое море. Не сразу осознали они эту опасность... Руль отказался служить... Нечеловеческих усилий стоило Антону держать весла.

„Не доберемся... утонем“, — и холодный пот выступил на лбу у Гриши, от напряжения замерло сердце.

Ялик взлетел на пенящийся гребень волны, закружился... и грохнулся вниз. Водяная стена с рокотом обрушилась на утлую лодочку и на мгновение скрыла ее под собой. Гриша почувствовал, что летит в пропасть... Его схватили чьи-то цепкие руки, и в следующий миг он ощутил под ногами дно. Рядом с ним стоял Антон — вода достигала им до пояса. Они двинулись вперед. Яростно накатывающиеся волны сбивали с ног. С трудом достигли берега и обессиленные опустились на песчаную отмель Таманской косы.

„Спасены!“ — мелькала в сознании бодрящая мысль.

Операция, предложенная Керченским комитетом, не была осуществлена. Красное командование не располагало морским транспортом, и перебросить в один прием на Крымский берег несколько сот человек оказалось невозможным.

Через неделю Гриша вернулся в Керчь и вновь окупился в водоворот активной подпольной работы. На бульвар, поглядывая на Таманскую косу, он уже больше не ходил.

ИЗ СТАРОГО БЛОКНОТА

1. На перевале

Киев—ни советский, ни белый. Киев еще „в руках красных“, но руки эти с каждым часом разжимаются. Казалось, что отступающий обоз бесконечен, но нынче утром медленно отгромыхали последние подводы. На улицах хмурые красноармейцы, порознь, кучками; проносятся озабоченные всадники. Крепшати втянул кудрявую голову в плечи, замкнулся, из-под тысячи подворотен сочит на пустые панели злорадную тревогу. Храбрейший из многоопытных—обыватель премудрый—дерзает прошмыгнуть бочком; за спиной—мешок. Премудрый запасается продовольствием. Запасается, потому что не глухо, как вчера, а где-то рядом рывкает, и оседает земля.

На Киев прут с юго-запада галичане-петлюровцы. Откуда-то напולзают денкиницы. А мы что?

Мы? Мы готовим конференцию районных групп.

Белых еще нет, а мы уже в подполье. Уже забыты знакомые подвезды клубов. Ребята растасованы по частным квартирам на окраинах. На мою долю выпала квартира в центре. У всех нас гнетущая мысль: „не раскусили бы хозяева!“ У хозяйки квартиры утреннее совещание жильцов; отнекиваюсь от ночных дежурств по дому: я—новый жилец, к тому же студент-ближневосточник, лекции, тетка на Волини, уроки в приличных семьях. Распиваю жидкие чаи, помогаю вздохнуть: „скоро ли уберутся, окаянные?“

После чаев—на конференцию. На пригорке за парком по Большой Васильковской—невинный пастушок. Поглядывает, машет невзначай приветливо кнутиком. Э, да это демиевский ¹⁾! Значит, ребята собрались за пригорком. Не слишком ли рано законспирировались? Ничего, будем привыкать.

Под осыпающимся кленом—двойным кольцом ребята. Компания теплая, десятка три. На земле—хлеб, селедка, огурцы: почти пикник, но музыка не располагает к мечтательности. Грохочет так, будто снаряды рвутся в соседнем квартале.

Ребята на вид подтянулись, преобразились. Кожаных курток нет и в помине; появились богобоязненные пиджачки, институтские переднички. Одна „вольная“ вышпирает из общей картины: только вчера красноармейские штаны сняла, за версту различишь—большевичка.

— Беспартийные, работавшие в гетманском подполье, будут участвовать в конференции.

Что ж, возражений нет. Правда, во времена гетмана Скоропадского весь союз считался беспартийным; но здесь, кажется, народ надежный—даст связь с мастерскими...

Так думали, но просчитались.

Из беспартийных встает Раса А., худенькая, взволнованная. Читает по тетрадке:

„... В центре всего—культурную работу, а потому... возражаю против организационных связей на время подполья с какой бы то ни было (?) партией...“

За ней подымается другой. Да этот как же сюда попал? В клубе он был мишенью для шуточек и проказ. Парню лет за тридцать, швейцарский эмигрант, носит значок: „J. S.“ (юный социалист), видел Мюнценберга живьем, сочувствует... поалеи-сионистам и вдобавок—зубной врач.

¹⁾ Демиевка—пригород Киева.

Туда он и клонит: „национальное воспитание“, „у нас свои собственные пути“, „нужна специфическая тактика“...

Пора положить конец напрасной трате времени. При-
сматриваюсь к ребятам: нет, здесь таких нет. Колеблю-
щихся не найдется.

Без прений: кто против связи с партией, против работы
под именем „коммунистический союз“, против немедлен-
ного рассмотрения плана ближайшей работы в подполье?
Никто. Воздержавшихся—трое...

Непредвиденная заминка смыта, но она-то и знаменовала
перевал. Теперь он за нами. Не такая уж плохая штука под-
полье: оно обойдется нам дорого, но освободит нас от плевел.

Горячо, не в меру подробно говорили о квартирах,
явках, деньгах, брошюрах. Домой шли парами, в одиночку,
по-новому уверенные. Эти улицы еще увидят нас сотнями
и тысячами.

А утром на Крещатике дамы забрасывали цветами
безусых офицеров; длинно и хрипло говорил, привстав
на стременах, багровый полковник на Думской, и в разных
концах города одновременно опознали и тут же на месте
прикончили четырех Раковских.

Через пару недель двое (житомирские комсомолки)
были арестованы. А еще через пару недель, во время набега
красного Богунского полка на Киев, они бежали из тюрьмы.

2. Торгую.

На Пушкинской улице, у серьезного и деловитого
под'езда, четко на доске:

КОНТОРА „ТОРГОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО“

Канторский кабинет. За письменным столом шеф
фирмы озабоченно шушукается с компаньоном. Дел—
уйма, продается и покупается все без из'ятия. В соседней

комнате—столики, машинки, папки, две девицы и я.
Последний—корреспондент конторы. Обязанности: в слу-
жебные часы выполнять поручения патрона, по вечерам
на квартире у хозяина играть в шахматы.

Картинка заурядная. Но попробуйте расшифровать
в ней кое-что, и она предстанет в новом свете. Вот:

У хозяина конторы где-нибудь в жилетной под-
кладке квадратный полотняный мандат с серпом и
молотом.

Посетителей „Торгового посредничества“ две катего-
рии: категория говорливая (ее интересуют сосновые дрова,
керосин, резина, трикотажное белье, валюта и все прочее)
и вторая категория—серая и молчаливая: повертятся и
уйдут.

Служащие конторы, после конца занятий, собираясь
у камина, простодушно бросают друг другу:

— Вчера читал доклад на Подоле... Представь, группа
растет, двоих приняли в союз...

А я, корреспондент фирмы, занимаю по совмести-
тельству и еще один пост: секретаря редакции „Комму-
ниста“, органа Областкома К. П. Украины...

Да, „контора“ у нас была налажена недурно. Здесь
были и встречи, и „явка“, и редакция. Вечером перели-
стываю пахучие гранки, пишу разметку, испещряю кор-
ректорскими пероглифами шершавые листы. В кабинете
лже-машинистка неистово барабанит (чтоб слышали у
соседей), и по бумаге ползет чудовищная строка:

„6.№Ю, аршчц 08 каал жэо тси нум: мок; йыню...“

— Ленту порвете, товарищ Чернис,—уверяет береж-
ливый „хозяин“.

Через час одеваем пальто в передней. Сосед выходит
покалякать.

— Вечерние работы...—лицемерно вздыхает „хозяин“.

— Делишки-то идут ничего?

— Не могу пожаловаться... (скромно, но с довольной усмешечкой).

И я не пожалуюсь: через три дня номер готов.

Сосед делает, шутя, страшные глаза:

— Большевики вот придут, контора-то ваша—тю-тю...

— Руки короткие... от Орла до Киева дистанция...

„Коммерсант“, за ним его почтительный клерк плетутся во-свояси.

А завтра с утра—совещание. Будем настаивать. Давно пора листовку для молодежи, а наши партийцы бумагу, что ли, жалеют?

Знал бы я, что через пару лет услышу от Ильича: „учитесь торговать“, непременно научился бы. А тогда пропускал мимо ушей ценнейшие рассуждения о каких-то дисконтах и джутовых калькутских мешках...

Сквозь все месяцы деникинщины „контора“ прошла невредимой. Только однажды у нас поднялась кутерьма. Прислуга, открывая мне утром дверь, бросила невзначай:

— Тут приходили, спрашивали, не служит ли в конторе Зоркий...

Я оцепенел. Звали меня, по бумагам, конечно, как угодно, но не этим именем.

— А кто спрашивал?—допытываюсь с деланным равнодушием.

— А еврейчик какой-то. Да еще говорит: „товарищ Зоркий“... Я сказала, что „товарищей“ у нас нет.

Ясно: шпик.

„Контору“ спешно подчистили, я собирался исчезнуть с горизонта, чтоб из-за меня не замели все неприятице...

Вечером встречаю младшего Добина (теперь уже покойного).

— Я,—говорит,—тебя искал. Меня к тебе посылали на Пушкинскую, да там тебя не знают...

У меня мелькает догадка.

— А как ты меня назвал?

— Да как, просто: Зоркий...

Ну, что с этими подпольщиками поделаешь? Хорошо, что один только такой уродился, не то бы мы давно свели интимное знакомство с деникинской контр-разведкой.

— А если б ты застал меня там, бросился бы небось: „Здравствуй, Зоркий“?

— Пожалуй,—смущенно улыбается тот.

Да, нелегкая вывезла...

1920.

О. Эрдберг

ДВЕ НЕДЕЛИ

Наконец-то и партии, и союзу удалось выпутаться из полосы безденежья! Скверное было время... Мы с Петром жили верстах в двух за городом по Двужкорному шоссе. Изрядно проголодавшись за день, возвращались к ночи домой и, затаив потуже ремни на животах, завалились спать.

На утро только забрезжит рассвет, когда хозяйева еще спали, мы организовали „охоту“: я пробирался в хозяйскую кладовую за хлебом, а Петр через окно в виноградник за виноградом — крупный, сладкий „пашлой“. Закусим с утра и этим живем весь день, полный работы и тревог.

После последнего провала дела снова начали налаживаться: в правлениях профсоюзов у нас хоть не твердое, но большинство; наладились связи с воинскими частями, достали оружие для лесных повстанцев, организовалась сильная ячейка КСМ у печатников. Одно только скверно: денег — ни копейки... Между тем деньги нужны были нам до-зарезу. Как вдруг удалось мне близко познакомиться с одним из руководителей крупного кооперативного союза.

Этот кооператор не только сочувствовал нам, но в свое время вел какие-то финансовые дела с большевистской Москвой, и в результате этих дел в кооперативе ко времени оккупации города белыми остались большие цен-

ности, принадлежащие Москве. Кооператор предложил нам ссудить эти деньги и одновременно познакомил меня с целым рядом представителей местной буржуазии, которые не прочь были дать деньги подпольной организации большевиков, с тем однако, чтобы это зачлось им, когда Перекоп будет взят красными.

Я согласился на все эти предложения. Организовал сбор денег, и вскоре у нас в кассе стали появляться миллионные суммы. Сразу появилась возможность шире развернуть работу, мы снеслись с областным комитетом партии, и оттуда прибыл т. Н., которого мы должны были переправить в Батум.

Н. остановился у нас на Двужкорном, однако устроить ему поездку не удалось, и он временно уехал обратно, записав наш адрес. А через две недели, в 3 ч. ночи, меня арестовали на моей квартире.

— Вставайте, вставайте!

Кто-то нетерпеливо тряс мое плечо, чьи-то руки шарили под подушкой.

Я открыл глаза. При свете луны я увидел, что комната запержена целой толпой людей, и ощутил на виске холодное прикосновение дула револьвера.

„Итак, захлопнули... Держись, брат!“ — мелькнула мысль.

Я стал потягиваться, делая вид, что не могу проснуться, и в то же время обдумывал, как держать себя. В голове с лихорадочной быстротой мелькали обрывки мыслей:

Нелегалщины в комнате у меня нет... Документы хорошие... Квартирная хозяйка ничего не знает... Хорошо, что Петра нет дома... О Германе скажу, что случайно познакомился...

В это время офицер, который будил меня, зажег свет и увидел соседний диван, на котором спал мой товарищ Герман, только вчера приехавший из Симферополя от областного комитета Союза Молодежи. Стражники удивленно оглядывали нас. Я и Герман выглядели совсем мальчишками: спали мы не раздеваясь, в скаутской

форме — трусики выше колен, рубашка с открытым воротом, нагрудными знаками и яркими ленточками, английские шейные платки.

— Вставайте, черти!

Я и Герман одновременно полезли на пол за ботинками, и я успел ему шепнуть:

— Мы друг друга не знаем... У тебя нет квартиры, я оказал тебе скаутскую услугу, пустив тебя ночевать...

Мы натянули и зашнуровали ботинки. Двое стражников обыскали нас и отвели в угол комнаты. Остальные стражники стали внимательно обшаривать комнату и выстукивать стенки.

Обыск продолжался часа три. Когда стражники окончили осмотр комнаты, сада и допрос квартирной хозяйки, уже совсем рассвело...

За это время мы с Германом подробно обсудили положение и решили разыгрывать мальчиков, которые не понимают, что от них хотят, и возмущены этим ночным визитом.

— Пора кончать... Стройся! — командовал офицер.

Нас вывели за ворота, окружили со всех сторон и, держа винтовки на перевес, повели по шоссе, а затем через базар в город...

Свежий утренний ветерок ласкал нам лица, развеивал галстуки. Торговки на базаре бросали свои корзины и, крестясь, уставлялись на нас удивленными взглядами.

— Посмотри, каких мальчиков ведут...

Последний раз, между каменными громадами домов, мелькнуло синее-серебряное утреннее море, и нас втолкнули во двор врагелевской контр-разведки.

* * *

Контр-разведка помещалась на втором этаже в барской квартире старинного особняка.

В ожидании допроса нас держали в караульном помещении под присмотром четырех стражников.

Мы переминались с ноги на ногу, внимательно оглядывали помещение и лица всех проходивших через комнату шпииков...

Маленький черненький капитан, с злыми бегающими глазами, каждые пять минут влетал в комнату и набрасывался на нас: — Знаем вас, знаем! Мальчишки! Оставлены здесь для связи с большевиками! Вот выпить вам шомполов, сразу все расскажете!..

Хотя обстановка нашего ареста была чрезвычайно неприятной, но эти крики успокаивали нас: если хотят шомполами заставить рассказывать, значит сами ничего не знают.

— Друг скаут-мастер, что вы здесь делаете?

Я оглянулся: передо мной стоял скаут лет 17-и и отдавал мне полный салют.

Отсалютовав мальчику, я, в тоне оскорбленной невинности, рассказал ему мою историю.

— Я скаут-мастер одесской дружины, знакомых у меня здесь нет. Если вы здесь свой человек, то, может быть, вы расскажете капитану и другим, что скауты не могут быть большевиками?

Мальчик пожал мне левую руку и скрылся за дверью, на которой висела табличка: „Кабинет начальника К.-Р.О.“

— Кто этот мальчик? — спросили мы часового.

— Сын полковника, начальника разведки.

— Ого!

— Наши акции поднимаются! — шепнул мне Герман.

Строгий окрик прервал нас:

— Васина на допрос!

Германа увели в кабинет начальника. Из-за дверей слышался гул голосов, но слов нельзя было разобрать. Через полчаса вывели Германа; он был бледен, но держался спокойно.

— Эрдберга на допрос!

За большим письменным столом сидел седой полковник, по правую руку от него молодой поручик быстро водил пером по листу бумаги. У двери стоял казак с винтовкой за плечом и нагайкой в руках.

— Имя?—обратился ко мне полковник.
 — Эрдберг!
 — Сколько лет?
 — Семнадцать!
 — Занятие?
 — Скаут. Живу на средства еврейского благотворительного общества.
 — Знакомы с Оскаром?
 — С Оскаром? Кто это? (Оскар моя кличка).
 — Врешь, знаешь! Кто приезжал к вам 2 недели тому назад?
 — Никто! (О, черт! Они, кажется, знают о Науме).
 — Тоже врешь!
 — Скаут никогда не врет! — выпалил я обиженным тоном.

Допрос продолжался около часа. Наконец, когда я настолько утомился, что мог ответить невпопад и попасться, я отказался дальше отвечать на вопросы.

Полковник откинулся на спинку кресла, смерил меня взглядом и позвонил. Вошел черненький капитан.

— Перевести обоих в тюрьму!

* * *

В большой грязной камере с цементным полом и решетчатыми окошками сидело уже человек десять. Это была общая уголовная камера для подсудимых.

Компания оборванцев встретила нас громким гулом и насмешками.

— О-го-го! Пистолеты!
 — Что ленточки нацепили?
 — Гляди, какие павы!

Грузный армянин, совершавший в углу утренний туалет, нашел нужным пожелать что-то моей матери. Но когда уголовные узнали, что мы „политические“, они сразу оставили нас в покое и стали даже сторониться. Камера зажила обычной жизнью. Молодой парень-дезер-

тир торговал у армянина бритву. Дезертиру нужно было каждый день брить усы и бороду — для того, чтобы показать, что он еще не призывного возраста. Армянин это знал и поэтому заламывал высокие цены.

Солдат расспрашивал старика с пьяным лицом о возможном исходе своего дела.

— Да ведь я в церкви икон не трогал!

— Шляпа! А ризу у тебя нашли? Значит, ты ограбил церковь... Беспременно повесят. Военный суд будет судить, потому ты военнообязанный...

Глаза у солдата затуманились, он тяжело вздыхал и поворачивался на другой бок.

Воздух в камере стоял тяжелый, душный. Под потолком висели клубы дыма.

Мы с Германом сели около самой двери и стали рассматривать надписи на пыльной стене: „Спаси, господи, помилуй!“, „Фараоны увели Рыжего, больше он не возвращался“, „Бандершу взяли“...

Мы легли прямо на пол и снова стали обдумывать свое положение. Тяжело было на душе. Два вора, с виду рыбаки, затянули песню. Один затягивал:

Керчь—город большой,
 Народу много,
 Я иду к себе домой,
 Дайте мне дорогу!..

Другой подхватывал:

Ба-азар большой,
 А я гуляю.
 На, Катя, кошелек,
 А то потеряю!

Утомленные, обессиленные, мы заснули тяжелым сном.

Когда мы проснулись, уже было часа четыре.

— Надо сообщить нашим, пусть что-нибудь предпримут.

— А что они могут предпринять?

— Не знаю, что именно, но что-нибудь могут, ибо деньги есть, связи тоже есть. Да кроме того Муни, у которого я брал больше всего денег, не допустит, чтобы нас расстреляли. Иначе — плакали его денежки.

— А как же мы сообщим?

— Записку пошлем!

Мы посоветовались с уголовными, и они сказали, что часовой за деньги передаст записку.

Когда в камеру зашел часовой с офицером для вечерней проверки, мы всунули ему в руку двадцать пять тысяч и записку.

— Купи арбуз и хлеб, а записку передай по адресу. Сдачу оставь себе.

Записка была самого невинного содержания. Если бы она даже попала в руки „начальства“, нам все равно ничего не грозило. На записке был указан адрес благотворительного общества, председателем которого состоял Муни. Это тоже сходилось с нашими показаниями и не могло повредить Муни.

Но записка оказалась уже ненужной. На воле уже знали о нашем аресте и приняли меры. Поздно вечером нас опять позвали на допрос. На этот раз полковник был вежлив и предупредителен. Эта вежливость буквально нас сбивала с толку.

— Вы ничего не можете прибавить к утренним показаниям?

— Нет, ничего, г. полковник!

— Вы свободны. Получите ваши документы и отправляйтесь домой... Из города выезжать можно.

Недоумевающие и растерянные вышли мы за ворота контр-разведки.

— Что это все означает, Оскар?

— Не понимаю, брат, ничего не понимаю!

Мы свернули за угол, вышли на главную улицу и постарались замешаться в густой толпе гуляющих.

Делая замысловатые круги, стараясь избавиться от возможного „хвоста“, пробирались мы за город.

Соленый морской ветер и бездонное черное небо так бодрили и радовали после тесной тюремной камеры.

* * *

Эту ночь и последующие сутки мы провели на заднем дворе паровой мельницы.

Приходил Петр и рассказывал, как нас освободили: узнав о нашем аресте, Муни сейчас же воспользовался своими связями с контр-разведкой. Ему удалось выяснить, что контр-разведка знает только одно: квартира на Двукорном — большевистская, персонально же против нас никаких обвинений не было. Тогда вся местная буржуазия, деньги которой находились у нас, послала полкомичество в контр-разведку, и к вечеру кого взяткой, а кого „добрым словом“ удалось убедить, что мы — бедные, но благородные мальчики. Полковник увидел, какой переполох произвел в городе наш арест, и поспешил нас выпустить.

Скоро однако ему пришлось в этом раскаяться, ибо уже через два дня из Симферополя получилась телеграмма, что „Оскар ходит в скаутской форме“.

На третий день мы назначили заседание комитета в мастерской дамских шляп. Когда уже все собрались, в комнату влетела запыхавшаяся Соня.

— Товарищи, в Симферополе полный провал. Арестованы Наумов, Куран, только что приехавший из Москвы, вся семья Сары. В городе организация совершенно разгромлена!..

— Теперь понятно, почему мы были арестованы: у Наумова нашли адрес нашей квартиры!..

Подробности провала были самые отчаянные: у арестованных товарищей нашли оружие, мандаты, материал подпольной разведки и все деньги, только что доставленные из Сов. России. Для всей организации это был непоправимо тяжелый удар. Я и Петр остались теперь

единственными членами Обкома во всех городах Крыма, ибо двое других — Антон и Тоня — находились в лесу и связи с ними никакой не было. Да наконец, самое тяжелое это было то, что связь с Сов. Россией, установленная с таким колоссальным трудом, вновь была прервана. Мы не были даже уверены в том, что явки, данные Москве, не попали в руки белых с арестом Курапа.

Мы стали обсуждать создавшееся положение.

— Первая задача, — говорил С... — восстановить связь с Сов. Россией, достать денег и новых работников.

— Верно! — говорили другие товарищи, — наша работа будет беспечной, если не согласовать ее с действиями красных войск. Нужно послать человека в Москву.

Поскольку у нас здесь два члена Обкома, мы имели право сделать это. Я предлагал послать в Москву Оскара, поскольку ему здесь все равно оставаться нельзя.

После горячих споров так и порешили.

* * *

Через день выехал я на лошади, под видом скупщика скота, в новой одежде и с новыми документами, по деревням на север.

В Джанкое я переменял костюм и документы и на этот раз под видом студента сел в поезд, направлявшийся в Мелитополь.

Все шло гладко, как по маслу. Стучали колеса вагона, за окном мелькали соленые озера, а за ними унылые поля, покрытые первым зимним снегом.

На станции Акимовка вздумалось мне выйти в станционный буфет закусить... Когда я выходил из буфета, держа в руках пальто, я почувствовал, что за мной следят, осторожно оглянулся и увидел... Поволоцкого, в форме нехотного офицера (Поволоцкий — провокатор, организатор ряда арестов подпольников).

„Снова попадусь!“ — мелькнула мысль.

В это время раздался шумный удар сигнального колокола, и все бросились к вагонам.

Воспользовавшись суматохой, я незаметно вскочил на площадку последнего вагона, взобрался на крышу и улегся там, среди десятка „зайцев“, мешечников и дезертиров.

Когда поезд отошел от станции, я слез с крыши и опять поместился на площадке последнего вагона. Здесь я разделся и выбросил студенческую фуражку, и хотя меня стал пробирать мороз, остался в одном пальто.

Потом я снова полез на крышу.

— Промений папаху на фуражку! — обратился я к солдату.

— А что прибавишь?

— Десять тысяч.

— На, бери!

Я напялил большую солдатскую папаху и окончательно потерял свой студенческий вид.

Когда поезд, замедляя ход, стал приближаться к следующей остановке, я соскочил со своего вагона и, пробежав вперед штук десять теплушек, опять взобрался на крышу. Теперь я чувствовал себя немного спокойней. Поезд подошел к станции, раздался резкий звонок, и человек 30 железнодорожной стражи опешили поезд.

— Не выходить из вагонов! — скомандовал офицер, руководивший облавой.

Поездная бригада стала проверять всех пассажиров. Через полчаса под павильоном станции уже стояли 5—6 арестованных студентов. Их повели в один из вагонов, но сейчас же отпустили. Я понял, что это ищут меня.

— Слезай с крыши! — кричали стражники.

Однако большинство дезертиров предпочло не слезать с крыши, так как это определенно грозило им арестом. Это и спасло меня — в общей массе „небесных жителей“ я остался незамеченным.

Снова раздался звонок, и поезд тронулся, а на перроне станции остался Поволоцкий и несколько человек в военной форме. Через минуту им подали дрезину, и они отправились обратно к Акимовке.

На следующей остановке опять сгоняли всех с крыш. На этот раз не слезло только человек десять — нас арестовали; комендант поезда топал ногами, кричал что-то о шомполах, а стражники тыкали нам кулаками в лицо.

До Мелитополя нас поместили уже в арестантском вагоне. Минут через двадцать к нам в вагон ввалилась толпа вооруженных стражников, и началась отвратительная, зверская экзекуция. По очереди всех нас отводили в угол вагона, для виду допрашивали и тут же всыпали кому пять, кому десять, кому пятнадцать шомполов.

Безумная обида и злоба поднималась в груди, мутила рассудок. Но я уткнулся лицом в деревянный пол, стиснул зубы и думал:

„Еще потерпи, уже осталось немного!“

Горькие думы и радостные надежды сменяли друг друга. Колеса стучали: „На север, на север“. Измученный побоями, я потерял сознание.

* * *

Я был приведен в чувство приближавшейся канонадой, необычайной суматохой и какой-то тревожной суетой, царившей вокруг.

Поезд стоял посреди степи на небольшом полустанке. Кто-то бегал вдоль поезда, и в темноте слышались крики: „Надо отцепить паровоз“, „Да здесь нет стрелки.“

Канонада все приближалась. Люди бегали взад и вперед. Кто-то подбежал к нашей теплушке и крикнул:

— Буденовцы прорвали фронт!

Двое часовых, охранявшие нас, перекрестились, взяли винтовки и вырыгнули из вагона. Я поднял голову, увидел, что за нами никто не следит, и, вскочив на полотно, бросился бежать вперед по линии. Я бежал до самого утра, забирая почему-то вправо. В ушах звенело, сердце стучало и готово было разорваться на части. День я провел в каких-то камышах, а к вечеру опять пустился в путь.

Ночью этого дня я вошел в Мелитополь. На улицах города было мертво и пустынно.

— Какая здесь власть? — набросился я на первого прохожего. Он удивленно отшатнулся и бросил: „Советская“.

До Александровска я тоже шел пешком, ибо взорванные мосты еще не были исправлены, а подвод в противоположное от фронта направление не давали. По дороге меня еще раз арестовали, но на этот раз уже свои, и, допросив, выпустили.

Верстах в семи за Кичкинским мостом я сел в поезд Реввоенсовета. Развернул свежий лист красноармейской газеты, пахнувшей типографской краской. На первой странице жирными буквами, точно огненными знаками, было выведено:

„3-я годовщина 25-го Октября“.

1921.

ЛИСТОВКА

В симферопольском рабочем клубе царит необычайное оживление. Убогое помещение, в котором ютятся, каждый в небольшой комнатке, почти все профсоюзы, убрано по-праздничному. Подвешенные к стенам, тянутся из одной комнаты в другую гирлянды зелени, усеянные красными бумажными флажками. Небольшой зал, где обыкновенно происходят общие собрания профсоюзов, битком набит. На стульях разместились по двое, но места все же не хватает, сидят на подоконниках, толпятся в проходах. Теснота, негде яблоку упасть. А народу все прибывает. Запоздавшие, после тщетных попыток пробраться сквозь живую стену, образовавшуюся при входе в зал, размещаются в буфетной комнате за столиками. Двери, ведущие в зал, раскрыты настежь: авось будет слышно и здесь.

— Ишь ты, разрешили-таки,—не то удивляется, не то торжествует пожилой рабочий маляр в пропитанной краской блузе.

Реплика его остается без отклика. Сидящий рядом юноша лет девятнадцати, к которому эти слова обращены, их как будто и не слышит. Его глаза скользят по лицам рабочих, в них сквозит беспокойство: он кого-то ищет и не находит. Но вот взгляд его встретился со взглядом примостившейся у самой трибуны молодой блондинки. В ее глазах сверкнула лишь одному ему понятная искорка, и, успокоенный, он отвернулся.

«Патка здесь,—подумал он,—молодец, пробралась-таки». Успокоенный, он повернул голову к маляру и спросил:

— Ты это о чем?

— А уши твои где?—обиделся последний.—Я говорю: разрешили-таки—знать, побаиваются нашего брата.

Юноша иронически улыбнулся:

— Эх, ты, побаиваются! Небось, Октябрьскую не разрешили бы. Да, если бы подписку не дали, что выступлений не будет, и февральскую не разрешили бы,—и он презрительно махнул рукой.—Да что тут говорить... сам знаешь!

Отвернув голову от смущенного его ответом маляра, Григорьев стал разглядывать лица сидящих вокруг рабочих. Их возбуждение и напряженное любопытство казались ему, члену подпольного Коммунистического Союза Молодежи, и странными и непонятными: он-то сам хорошо знал, что меньшевистские синицы, созвавшие с благосклонного разрешения генерала Слащева это заседание, по поводу третьей годовщины февральской революции, моря не зажгут. Он, Григорьев, на это собрание даже и не пришел бы. Но ему и Пате, тоже комсомолке, поручено...

Рабочая аудитория стала уже проявлять признаки нетерпения, и сидящий за столом президиума председатель симферопольского исполнительного комитета совета профессиональных союзов Гаврилов поднялся и объявил торжественное объединенное заседание совпрофа и правлений союзов, посвященное третьей годовщине февральской революции, открытым.

В зале воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь монотонным тиканьем стенных часов.

— Слово для доклада,—кончил свою вступительную речь Гаврилов,—предоставляется товарищу Н.

Тысяча глаз вливается на поднявшегося на трибуну невзрачного, худосочного интеллигента лет 35-и.

Доклад идет вяло... Лица рабочих постепенно тускнеют, возбуждение падает... Крокодиловы слезы по поводу того, что генерал Слащев игнорирует принципы демократии, не находят отклика в сердцах рабочих—их лица безучастны, кое-кто даже позевывает... А докладчик все тянет и тянет. Уже поредело в проходах. Уже раздаются покашливания...

Вдруг погасло электричество. В зале на мгновение воцарилась темнота и... на головы рабочих посыпался дождь листовок...

Вспыхнул свет. Тщетно дребезжит звонок председателя, тщетно призывает Гаврилов аудиторию к порядку. Не до докладчика тут, не до нудного нытья... Почти у каждого в руках пахнущая еще типографской краской свежая летучка.

«...Февральская буржуазная революция была лишь предтечей пролетарской Октябрьской...»—жадно читают рабочие.

На мгновение подняв глаза, подозрительно косится маляр на сидящего, как ни в чем не бывало, комсомольца, но тот и сам углубился в листовку.

«...от вашего имени сидящие и профсоветах и городских думах меньшевики и эс-эры за вашей спиной ведут переговоры с пьяным, развратным палачом и бандитом Слащевым. Эти переговоры—предательский нож в спину Красной армии и рабочего класса...»

— Правильно,—неясным гулом проносятся по залу возгласы.

«...Вновь правые социалисты предают вас, как уже однажды предал вас Керенский генералу Корнилову...»

Суетится растерявшийся президиум...

— Товарищи, это провокация,—вопит взбравшийся на стол какой-то плюгавенький меньшевик.

Но его не слушают.

— Да здравствует Красная армия,—подхватывает чей-то возглас вся аудитория.

Сквозь закрытые окна на улицу рвутся звуки Интернационала.

Беспомощно мечутся между стульями неизменные посетители всех рабочих собраний—шпики. Этот мощный порыв испугал их. Всех не арестуешь, а поют все...

Широким потоком хлынула лавина рабочих с лестницы.

Смешавшись с толпой, благополучно ускользнули от шпииков и Григорьев, и Пята, и еще трое комсомольцев—виновники этого переполоха.

Арестов не было. Рабочие благополучно разошлись по домам.

Долго еще на симферопольских заводах говорили об этой листовке.

О. Эрдберг

КОКТЕБЕЛЬСКИЙ С'ЕЗД

На 20-е апреля назначен областной с'езд. Для того, чтобы обмануть бдительность шпиков, в последний момент с'езд был перенесен за город, верстах в двадцати от Феодосии, в маленький дачный поселок Коктебель. Три десятка белых домиков, суровые, с причудливыми обрывами, скалы и высокие горы обступили на берегу синего, изумрудно-зеленоватого моря.

Торжественная тишина, необъятный шатер неба и мощные изгибы горных кражей заставили нас забыть обо всех опасностях.

К вечеру с'ехались все делегаты от О. К. партии, Союза Молодежи и из уездов, и мы решили открыть с'езд. Выбрали президиум...

На папиросной бумаге вели протокол условными знаками.

В спорах забыли опасности и повышали голоса, но никто не замечал этого...

Доклады с мест. Какое бодрое и радостное чувство! Организация растет, завязываются новые связи; момент, когда можно будет вступить в бой, близок.

Высокий, худой и нескладный Пляя — делегат севастопольской организации, рассказывает, как обстоят у них дела.

— Флот — наш. „Кагул“ согласен по приказу Ревкома повернуть орудия на город. Суда, стоящие на рейде, не опасны, так как в момент восстания мы затопим баржу у входа в море, а обстреливать город с рейда невозможно. На бронепоезде „Волк“ можно ночью снять замки с орудий, а второй бронепоезд — наш. Пошлем его на помощь Симферополю, Феодосии.

Мы произвели обложение буржуазии, так что в деньгах недостатка не чувствуем. Связь с тюрьмой поддерживаем через уголовных. В профсоюзах одержали полную победу; из семи членов Совпрофа — четыре наших. Есть ячейки в татарских деревнях, в болгарских и греческих колониях...

„Союз молодежи“. У нас образовался Областной комитет. Организации имеются во всех уездах, кроме Севастополя. Самые сильные ячейки у печатников. Благодаря этому мы взяли на себя печатание и распространение всей партийной литературы. Разведка и контр-разведка работают примерно: имеем связи во всех воинских частях.

При боевой дружине организована террористическая группа и подрывная команда, проделавшие уже ряд операций. Просветительная работа не прекращается: еженедельно собираются все коллективы, читаем доклады, ведем собеседования... Чувствуем острую нужду в квартирах...

Ялта, Евпатория, Симферополь... Доклады с мест окончены. Уже ночь — пора кончать. Отправляемся купаться. Море блестит, искрится светом радия. Когда бросаешься в воду, каскады серебристых, блестящих брызгов вырываются вверх.

На утро заседание продолжается. Доклад О. К.: деревня, отношение к другим партиям, о работе в профсоюзах, военный вопрос. Докладывает Николай — предсе-

датель Областного ревкома, смуглый армянин с угловатыми неловкими жестами и пытливым взглядом:

— После городских провалов работать в городе трудно. Время отдельных террористических актов миновало; почва подготовлена: нужно мобилизовать всех партийцев и комсомольцев, перейти в лес, объединить вокруг себя дезертиров и недовольных тяжелыми повинностями крестьян, — создать повстанческую армию. Ц. К. татарской партии „Мимфарка“ обещает деятельную поддержку. Их сторонники в деревнях готовы доставлять нам продовольствие и лошадей.

Оружие есть. Через какие-нибудь три недели мы уже сможем прервать сообщение между Симферополем — Ялтой, на Севастополь и Ялта — Феодосия.

Наши первые повстанческие отряды у станций Альма и на Ай-Петри послужат ядром, вокруг которого мы организуем остальных. Как базу и опорный пункт Ревком избрал Шат-гору. Пленные красноармейцы готовы присоединиться к нам. Мы можем создать внутренний фронт против белых.

План Ревкома, очевидно, всех удовлетворяет. Но товарищи возражают против отдельных пунктов, вносят новые предложения.

В это время в комнату входит татарин Эмер. Он, очевидно, взволнован. Шепчет, наклоняя к нам свое изрытое оспой лицо:

— Товарищи, в Коктебель приехали белые на трех линейках — человек 20 и трое верховых. Остановились на берегу моря и смотрят на поселок...

Все вскакивают. Складываем „нелегальщину“ в один пакет, и я сую его в карман. Надо быстро удалиться.

Досыпаю патрон моего испанского браунинга; кто-то вкладывает обе „лимонки“ в карманы пиджака. Решаем разбиться попарно и уйти в горы, там продолжать работу... Через окна задних комнат прыгаем в сад и быстро поднимаемся в горы.

Мы отошли всего с версту от Коктебеля. И здесь, на склоне сросшихся гор „Две Сестры“, решили продолжать заседание. Нам осталось не больше часа работы: кончить „военный вопрос“ и выбрать О. К. Палящее солнце уже клонится к западу.

Расположились в котловине, на сухой, пыльной, выжженной солнцем траве.

Нас 13 человек, но только шестеро вооружены; четыре женщины и один уже пожилой товарищ, толстый чернобородый Матус, не пригодны к бою — в случае столкновения будет плохо. Надо быстрее кончать и расходиться. Желание поскорее обсудить важные вопросы окончательно убило нашу осторожность. Мы поработали всего полчаса, как вдруг, обернувшись, шагах в пятидесяти от нас, на гребне горы я увидел рослого малого в потертом костюме и смазных сапогах. Он только что заметил нас, обернулся и закричал:

— Сюда! Сюда! Они здесь!..

Шпик и я одновременно подняли револьверы, но я выстрелил первый. Парень согнулся и скрылся по ту сторону гребня. В то же мгновение из-за склона горы, над самыми нашими головами вынырнуло человек 15 с винтовками в руках. Сталкивая друг друга, мы бросились по склону горы. Грохнул залп и затрещали отдельные выстрелы. Пули со свистом жужжали вокруг нас, взрывая столбики земли.

„Обошли... Разрывными стреляют...“ — мелькают в голове отрывки мыслей.

— Где наши?

Внизу бегут наши впереди и сзади меня.

Оборачиваемся, стреляем и опять несемся вперед. Вдруг Илья делает огромный прыжок и с раздробленным черепом падает у моих ног. Капли крови и мозга обдают мне лицо.

Бежим по руслу высохшего ручья. Оглядываюсь — со мной Фоля. Он сжимает „парабеллум“ и тяжело дышит.

Здесь никто не видит, и пули белых не достигают нас. Я быстро зарываю пакет с нелегальщиной под куст, и мы бежим дальше.

Выбегаем в долину. Выстрелы все грохочут, и горное эхо разносит их далеко окрест. Наши бегут впереди. Слева видим три фигуры: в одной из них узнаем Николая.

Это хорошо: врасыпную легче скрываться. Тяжело дыша, бежим дальше. Сердце стучит невыносимо, и двигаться все труднее. Я два раза упал, больно окровавил себе колени об острые камни.

— Куда теперь?—спрашивает Фоля.

Не понимаю вопроса. Отвечаю:

— Береги на себя последний патрон. Живыми не дадимся.

Фоля остановился, посмотрел на меня и нервно рассмеялся.

— Что ты! Уйдем...

Вдруг справа опять белые — трое всадников. Увидев нас, они смешиваются и открывают огонь из винтовок. Отвечаем. Я заряжаю браунинг неполной обоймой с последними тремя патронами. Опять бежим вперед. Быстро бежать нельзя, так как надо прикрывать отступление наших женщин и невооруженных. Надо перевалить через цепь гор, окаймляющих долину, и тогда мы спасены.

Наконец снова крутые склоны гор! Всадники прекращают преследование, так как их лошади не могут идти по обрывам. Мы взбираемся наверх, цепляясь за сухой и колючий кустарник. Уже темнеет... Мы пробежали не меньше семи верст. Все тело ломит. Голова кружится от быстрого бега. Во рту какая-то тягучая, липкая слизь, страшно мучает жажда.

Наверху горы нагоняем наших. Уже темно. Прошли еще версты три и спускаемся в балку отдохнуть. Считаем, кого недостает: Илья убит, Хмыльку задержали—кто-то видел. Николая, Матуса, Тони и Нюни тоже нет. Может быть, пойманы, может быть, ушли в другую сторону.

На утро следующего дня мы были уже в Феодосии. Остановились у знакомого кучера в конюшне. Как только стемнело, двинулись в город на разведки, узнать о причинах провала.

Ночью опять сошлись в конюшне и обменялись сведениями.

Провал произошел таким образом: на квартиру Геймана — организатора съезда — пришел какой-то высокий блондин в студенческой фуражке. Назвался членом Областкома Акимом, сказал пароль и представил мандат за подписью Николая. Просил указать ему, где съезд, так как в Симферополе арестованы наши и он должен срочно видеть Николая. Он-то и оказался предателем.

1921.

О. Эрдберг

С НАХРАПУ

Это было в дни врангельского подполья. Наступила годовщина февральской революции.

Мы ломали голову:

— Как быть? Нельзя обойти молчанием такой день!

Васильев — молодой рабочий-кожевник — член штаба союзной дружины, большой мастер на такие дела — нашел выход: почесал затылок и пробурчал:

— Устроимте, ребята, налет на типографию, заставим напечатать нам листовку!

Сказано — сделано. В 5 часов дня, за час до закрытия типографии, пошло шесть парней — все члены союза. Выбрали типографию „Рекорд“, в центре города, на Екатерининской улице.

Большое зеркальное окно типографии выходит на улицу. Четверо парней прислоняются к стеклу, как бы разглядывая выставленные там этикетки и плакаты, для того, чтобы праздные прохожие не могли разглядеть, что творится внутри типографии. Я и Васильев вошли в типографию. В передней комнате человек пять заказчиков, хозяин типографии и его брат. Васильев сразу обращается к хозяину:

— Я недавно заказывал у вас бланки для щелочной фабрики „Слава“... Готовы уже?

— Фабрика „Слава“? Сейчас посмотрю. — Хозяин лезет по лестнице, прислоненной к стенному шкафу, и роется в папках на верхних полках.

В боковой комнате, отделенной от нас большой решетчатой стеклянной перегородкой, работает человек пять наборщиков, склоняясь над кассами. В глубине комнаты дверь в машинное отделение. Днем оно пусто.

Васильев подходит к деревянной лестнице, наверху которой стоит хозяин типографии, и обращается к нему вполне ласково:

— Послушай, друг, нужно отпечатать прокламации для коммунистов. Сделаешь?

Хозяин широко раскрывает глаза.

— Кому нужно?..

— Нам нужно, чтобы ты отпечатал!

— Что вы говорите! Вы с ума сошли! Я позову милицию...

— Не позовешь!

Васильев подал мне знак. Мы оба вытащили из-за поясов маузеры, и тут же наши ребята, увидев в окно, что „началось“, распахнули дверь и ворвались в типографию.

В миг на входной двери появился плакат: „Магазин закрыт по случаю смерти хозяина“. Окно, выходящее на улицу, было задернуто занавеской.

Мы загнали всю публику в заднюю комнату.

— Ну, теперь отвечаешь — бросил Васильев хозяину, загнанному наверх лестницы.

— Отпечатаю...

— Не просим... Товарищи рабочие!.. Нам нужно напечатать листовку для коммунистов. Сделаете это?

— Давайте, только быстро, скорее!.. — притворяясь недовольными, ответили наборщики.

Вмиг роздали оригиналы. Через 50 минут набор был готов, за 20 минут свертали, нашли нарезанную бумагу и пустили набор в „американку“. Хотя она здорово стучала, но иначе нельзя было, так как большую машину пустить было труднее...

Вдруг потухло электричество и в то же время раздался стук в парадные двери.

— Что делать? — вырвалось у Васильева... Публика уже забеспокоилась, стала подвигаться к выходу.

Но мы вмиг наплись, зажгли спички и при мерцающих огоньках дула револьверов блеснули еще грознее.

Стук в дверь прекратился.

Потом мы узнали, что это стучала сестра хозяйина типографии и, увидев зловещую надпись на двери о смерти своего брата, в смятении побежала домой.

Наконец листовки готовы.

Через час прокламации расклеены по всему городу. Тогда оставшиеся покидают типографию.

А утром рабочие, проходя по городу, читают наши листовки. Внизу жирным шрифтом значится:

„Областной Комитет РКП“.

„Областной Комитет РКСМ“.

1921.

Москален

ПАМЯТИ 9-й

За месяц до казни девяти, благодаря предательству ворвавшегося в партийную среду провокатора, начались провалы подпольных организаций во всех городах Крыма. Первый удар выпал на долю подпольной симферопольской организации РКСМ, которая насчитывала в своих рядах более сотни вооруженных молодых пролетариев, являвшихся для партии неисчерпаемым резервуаром, откуда брались боевики, подрывники, разведчики, следившие за шпиками, работники для установления связи и т. д. Провокатор знал, что нужно начать свое „благородное“ дело с „комсы“ и тем самым подорвать мощь партийной организации.

Первый удар был нанесен...

22 апреля 1920 г. на конспиративной квартире была устроена засада отрядом кутеповской контр-разведки. Все появившиеся товарищи были немедленно схвачены и заперты в одной из комнат. Всего, до предупреждения о том, что квартира провалена, было арестовано 14 членов союза.

Среди них находились два члена комитета и почти полностью ячейка кожевников.

Три недели их истязали, для того, чтобы вырвать у них имена и адреса партийных и союзных работников, оставшихся на воле. Но этого им не удалось: комсомольцы оставались верными революционной клятве.

Утром 14 мая 1920 г. власти, боясь нападения гулявших на свободе подпольников, оцепили все улицы юнкерами школы имени ген. Алексеева. От тюрьмы до „Петроградской“ гостиницы (Пушкинская ул.), где заседал военно-полевой суд, во время передвижения арестованных не пропускали ни одного человека. С раннего утра население было оповещено белогвардейскими газетами о предстоящем суде над 14-ю молодыми коммунарами. К зданию военно-полевого суда стекались толпы граждан, среди которых находилось много рабочих, покинувших свои предприятия. Все старания юнкеров разогнать толпу ни к чему не приводили. Буржуазная городская дума, чувствуя, что в воздухе пахнет неладным, созвала экстренное заседание и постановила: послать в Севастополь к Врангелю делегацию с просьбой не приводить в исполнение смертных приговоров над несовершеннолетними (среди арестованных были ребята до 16 лет), а, до разрешения этого вопроса в „ставке“, на день отложить суд. Но их постановления остались только на бумажке.

С 10 ч. утра до позднего вечера шел военно-полевой суд или, вернее, разыгрывалась гнусная комедия. Под конец произнесли заранее приготовленный приговор: 9 человек к смертной казни через повешенье, 4—к бессрочной каторге.

Спокойно, с полным самообладанием подсудимые выслушали приговор. Их последняя просьба заключалась в том, чтобы в предсмертную ночь не разлучали смертников, чтобы всех держали в одной камере.

В момент произнесения приговора к зданию суда были стянуты почти все воинские части белой армии, расположенные в Симферополе. К моменту вывода подсудимых из здания суда толпы народа, взбудораженные воплями и криками родителей осужденных, сделали еще одну отчаянную попытку разорвать цепь белогвардейских частей и в последний раз взглянуть на смертников. Взяв наизготовку ружья, войска разогнали толпу и очистили улицы города от „большевистски настроенной публики“.

По прибытии в тюрьму сейчас же после суда все смертники, кроме 18-летней Шполянской, были помещены в одной камере коротать последние часы своей жизни.

Самая тяжелая минута, которая навеки запечатлелась в памяти „бессрочников“, это—прощание смертников с теми, кого ген. Кутепов решил оставить жить, т. е. с теми, кто был осужден на бессрочную каторгу. Смертники передали им целый ряд „земных“ поручений, и самое важное задание—построить крепкий Комсомой.

А Шполянскую после суда опять отправили в контрразведку, для того, чтобы в эту предсмертную ночь еще немного помучать. Пьяная орда всю ночь глумилась над ней. Ей отрезали груди и изрубили на куски руки. После этих страшных, нечеловеческих мучений она умерла.

В 4 часа утра 15 мая 1920 г. 8 смертников (за исключением т. Шполянской) с пением „Интернационала“ были выведены на Тюремную площадь и по очереди были вздернуты на фонарных столбах. И тут дело не прошло без мучений. Уже умирающих, с веревкой на шее, товарищей опять спускали вниз, давали возможность передохнуть и потом опять дергали веревку. Все мольбы товарищей о том, чтобы скорей их прикончили, не трогали „маменькиных сынков“, славных врангелевских юнкеров.

В этот день все население Симферополя ходило смотреть на висящих на фонарных столбах юных мучеников и читало прибитый к каждому погибшему плакат: „Погиб за коммунию“.

Прошли годы, но крымская молодежь помнит своих погибших борцов. Из года в год она ходит на их братскую могилу, возлагает венки и еще раз дает клятву, несмотря на тяжелые условия, с честью выполнить все заветы погибших и их главный завет—построить крепкий союз.

Н. Н.

И С Л Я М

1. „...на основании ордера контр-разведки...“

Ислям проснулся от толчка. Открыл глаза и замер... Над постелью склонился высокий дылда в офицерской шинели и тыкал Исляма револьвером в висок. В тесной комнатке толпились вооруженные люди.

„Кончено!“—как обухом, ударила страшная мысль.

На мгновение Ислям опять закрыл глаза, но тотчас открыл их и, приподнявшись, спросил:

— В чем дело?

Голос его звучал твердо. Ислям поборол волнение и казался совершенно спокойным.

— Одевайтесь,—сухо ответил офицер,—обыск.

Из соседней комнаты донесся сдавленный шопот. Хлопнули двери. В квартире воцарилась жуткая тишина. Ислям стал медленно одеваться—он оттягивал время, чтобы обдумать положение. Офицер не сводил с него револьвера.

Начался обыск. Квартиру перерыли вверх дном. Разбрасали по полу содержимое всех ящиков и шкафов. Одежду вспарывали, ощупывали все складочки и швы.

— Нет ничего!—На лицах контр-разведчиков изобразилась досада.

Вдруг из сеней послышался торжествующий возглас:

— Господня поручик, есть!..

У Исляма потемнело в глазах. Сердце учащенно забилося... Там, в сених, под одной из половиц, он хранил круглую каучукową печать Татарского бюро при подпольном Крымобласткоме РКСМ. Кроме печати, он вчера туда еще положил пачку паспортных бланков, которые он должен был сегодня отослать в лес, в штаб зеленой армии...

Один из офицеров сел писать протокол:

„3-го августа 1920 года я, поручик Щелкунов, в присутствии понятых... произвел, на основании ордера симферопольского контр-разведывательного пункта при штабе верховного главнокомандующего вооруженными силами юга России, обыск в квартире Исляма Умэр-Оглы, при чем обнаружил...“

— Это ваше?—вскинул глаза на Исляма составлявший протокол поручик и указал на сложенные на столе паспорта и печать.

— Мое,—решительно ответил Ислям.

Поручик опять закрипел пером. В окно пробивались палящие лучи знойного крымского солнца. Исляму сделалось тоскливо. Хотелось, чтобы поскорее кончилась эта нелепая протокольная процедура:

„И зачем это им? Ведь все равно повесят“.

А в том, что повесят, он не сомневался. Последняя искра надежды потухла, когда он увидел выведенные каллиграфическим почерком офицера слова: „на основании ордера контр-разведывательного пункта“. До этого он еще допускал мысль, что это случайная облава и как-нибудь удастся выпутаться.

— А раз контр-разведка, значит—амба!

Действительно, контр-разведка за Ислямом охотилась давно. Еще весной, когда по всему Крыму прокатилась волна жестоких провалов и была разгромлена вся татарская организация, Ислям избег ареста лишь благодаря счастливой случайности: контр-разведчики спутали номер квартиры и попали этажом выше; когда же ошибка была обнаружена, было поздно: птичка упорхнула—Ислям,

услышав звон шпор, выпрыгнул в окно из второго этажа и был таков. Контр-разведчикам досталась лишь его фотографическая карточка, которую он впопыхах не успел захватить с собой. Для шпиков это был большой конфуз, так как они были осведомлены о выдающейся роли Исляма в боевой организации и об его участии в целом ряде выступлений, в том числе в вальсе на эвакуированную в Симферополь харьковскую политическую тюрьму, в нападении на участок и в покушении на генерала Слащева.

После этого случая Ислям ушел в лес к зеленым. В продолжение четырех с половиной месяцев он командовал одним из повстанческих отрядов и не мало крови испортил врангелевцам беспрестанными нападениями на поезда с военным снаряжением.

Всего недели полторы назад, после состоявшейся в лесу партийной конференции, Ислям вновь вернулся в город и стал во главе татбюро Крымобласткома РКСМ. Работа стала налаживаться, удалось установить контакт с татарской национальной партией „Милиферка“. Из Советской России привезли крупные средства, и вдруг — арест.

2. Пахнет виселицей.

Контр-разведка помещалась на Екатерининской улице в бывшей гостинице „Виктория“. Приведенного под усиленным конвоем Исляма еще раз тщательно обыскали и поместили в большую, совершенно пустую комнату. Не было ни стула, ни кровати, зато вдоволь было грязи. Пол был весь заплесан, обои на стенах ободраны и густо усеяны клопами.

Ислям уселся на выходящий в коридор подоконник, но стоявший около комнаты часовой велел сойти. Делать нечего, пришлось повиноваться.

Ислям простоял часа два, прислонившись к стене, ноги уже начали ныть. Чувство брезгливости не позволяло присесть на пол... Наконец его вызвали на допрос.

Двое часовых ввели Исляма в небольшую комнату в противоположном конце коридора. Комната была почти сплошь уставлена шкафами, за стеклянными дверцами которых виднелись синие папки — „дела“. За письменным столом, стоявшим возле самого окна, сидел офицер, лет сорока, с совершенно лысой головой и клинообразной бородкой на ничего не выражающем лице. Офицер поднял голову, впился своими маленькими водянистыми глазками в Исляма и знаком велел часовым выйти.

— Присядьте, молодой человек, — любезно пригласил следователь Исляма, указав на мягкое кресло, стоявшее возле стола.

Ислям, усталый от двухчасового стояния, не заставил повторить приглашения.

Началась обычная процедура, предшествующая допросам. Следователь вкрадчивым голосом поставил в известность Исляма, что чистосердечное признание облегчит его судьбу, не скрыл и того, что допрашиваемый „по закону“ имеет право как от дачи показаний вообще, так и от ответов на отдельные вопросы отказаться. Последнее предупреждение сопровождалось таким многозначительным выражением лица, что Ислям на мгновение явственно ощутил прикосновение шомполов к голому телу.

Когда официальное вступление было сделано, следователь как будто забыл, что пред ним сидит „преступник“, откинулся в кресло, закурил папиросу и, протягивая Исляму портсигар, мягко произнес:

— А у меня сегодня сын женится, одних лет с вами... Изумленный Ислям не нашелся, что ответить. Папиросы он однако не взял. Следователя это не смутило. Мечтательно устремив глаза в потолок, он пустился в пространные философствования на тему об увлечениях

юности. Ислям слушал, и в его воображении проносились картины мучительных пыток, которым подвергали казненных весной товарищей во время допросов.

«Неужели это обычное вступление, неужели и с ними так беседовали? Вероятно, нет,—решил не искушенный в незуитских уловках контр-разведчиков Ислям,—следователь, видно, хороший попался...»

Но все же насторожился:

«Буду начеку... Лучше истязания, чем предательство!»—окончательно созрело решение отказаться от показаний.

— А ведь и я в известной степени революционер. В пятом году даже террористом, эс-эром был,—продолжал между тем разглагольствовать следователь.

Ислям все молчал. Журчащая речь подполковника не проникла в его сознание. Последний наконец, заметив, что философия не производит должного впечатления, приступил к делу.

— Вот, набросайте свои показания, — пододвигая Исляму бумагу и чернила, бросил он как бы между прочим.

Произошло неловкое замешательство. Ислям, непроизвольно потянувшийся было к бумаге, опомнился и резко отдернул руку. Следователь это заметил и, выдержав короткую паузу, все еще вкрадчивым голосом, улыбаясь, произнес:

— Вас это смущает... Ну, хорошо, я буду писать сам,—и он стал задавать Исляму вопросы.

Ислям подтвердил предъявленное ему обвинение в принадлежности к партии коммунистов-большевиков и в участии в подпольной работе, оговорил, что подпольная работа сводилась только к марксистской пропаганде, и от дальнейших показаний отказался.

Лицо следователя сразу изменилось, исчезла заискивающая улыбочка, в глазах сверкнула злоба и рука протянулась к звонку, но это продолжалось только одно мгновение—он овладел собой и попрежнему ласковым голосом «отечески» посоветовал Исляму «не глупить».

— Ведь виселицей пахнет... Эх, молодость, молодость...

Не помогло. Ислям знал, что виселицы ему все равно не миновать. Он почувствовал непреодолимое желание вывести следователя из себя, и, явно проницая поблагодарив его за участие, твердо заявил, что решение его неизменно.

Больше Исляма следователь увещевать не стал. Уже не скрывая своего бешенства, он, приподнявшись с кресла, прошипел:

— Ага, так... Ну, посмотрим!..—и несколько раз порывисто надавил кнопку настольного звонка.

У Исляма засосало под ложечкой:

— Сейчас бить начнут!..

В комнату вошел рослый верзила. Тупое, с резко выступающими скулами лицо было багрово-красного цвета. Он безучастно взглянул на следователя, перевел взгляд на Исляма, и губы плотоядно скривились...

— Вот, побеседуйте,—обратился к вошедшему следователь,—а я скоро вернусь,—и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собою дверь.

Приглашенный «помощник» оказался татарин. Он по-татарски стал ругать Исляма за то, что тот «прикрывает жидов», и, видя, что Ислям остается невозмутимым, со всего размаху ударил его кулаком по голове.

Ислям на минуту потерял сознание и, когда открыл глаза, то рядом с татаринком уже стоял, явившийся на подмогу какой-то поручик с шрамом через все лицо. В руках он держал по помполу.

С Исляма сорвали одежду, и экзекуция началась...

3. Церковный коридор.

Исляма привели в тюрьму. Обыскивали в третий раз; отняли найденный карандаш, подтяжки, гребешок и записали в книгу.

— Церковный коридор... Восьмая одиночка,—отрывисто скомандовал смотритель.

Церковный коридор в симферопольской центральной тюрьме состоял сплошь из одиночек. Туда сажали только самых опасных преступников, которых ждала смертная казнь. Об этом коридоре Ислям слышал, еще будучи на воле. Восьмая одиночка была третьей с конца коридора.

Обитая железом дверь захлопнулась, и Ислям очутился в тесной клетушке. Полутемная, со стенами, окрашенными в какой-то грязно-серый цвет, она показалась Исляму большим гробом. Нар не было. Он опустился на пол.

Тело ныло и горело после истязаний в контр-разведке. Два дня его мучили—живого места не осталось. Но Ислям перенес пытки со стойкостью, достойной жителей Востока. Палачи от него ничего не добились. Он не выдал никого...

В „волчок“ заглянул надзиратель, крикнул, что „днем лежать не полагается“. Ислям покорно встал. По удалявшемуся лягу ключей понял, что надзиратель ушел, и лег опять.

Извне в камеру не доносилось никаких звуков. Маленькое окно, защищенное толстой железной решеткой, было расположено почти у самого потолка и выходило на какую-то покрытую плесенью стену.

„Должно быть, второй корпус“, — вяло мелькнула догадка, и Ислям впал в тяжелую дремоту: двое суток, проведенных в контр-разведке, он не смыкал глаз.

Ислям спал часа два. Из забытья его вывел прокашлявшийся по коридору неясный крик. Открыл глаза. Не сразу сообразил, где находится. В сознании смутно промелькнули картины последних дней... Загромыхал засов, и дверь открылась.

На пороге, в сопровождении надзирателя, показался неизмеримо высокий детина с длинными рыжими усами. На плечах сверкнули серебряные погоны.

— Вста-ать!—побагровел он от бешенства, увидев на полу Исляма,—я тебе... твою мать, покажу, как во время проверки лежать!

У Исляма помутилось в голове... Он рванулся к тюремщику... но боль во всех суставах отрезвила. Он сжал зубы и медленно поднялся. Надзиратель сделал отметку в книге, и Ислям опять остался один.

Спать больше не хотелось. Сев на пол, прислонился к сырой стене. Мрачные мысли теснились в мозгу: он видел себя уже на виселице. Отчаяния не было. Им овладела апатия—тупая покорность судьбе.

„Ляшь бы скорее...“

В камере вспыхнул свет. Только теперь заметил Ислям привинченную к потолку электрическую лампочку. Стал разглядывать стены. Кое-где виднелись следы записей. Прочсть нельзя было: они были старательно замазаны известкой. Ислям нацарапал ногтем дату своего ареста.

Вспомнил, что давно не ел. Подошел к „волчку“—в коридоре пусто. Хотел было крикнуть надзирателя, спросить, будет ли ужин, но раздумал.

„Поздно уже, про меня, видно, забыли. Чорт с ними, потерплю до завтра“.

Но он ошибся, про него не забыли. В симферопольской тюрьме ужина не полагалось. Кормили два раза в день: утром давали полфунта хлеба и немного кипятку, а в обед бурду из пустых щей—больше ничего. Исляма же из контр-разведки привезли после обеда. То, что он в этот день и там ничего не ел, до этого тюремщикам, конечно, не было дела.

Ислям продолжал смотреть в „волчок“. В тюрьму он попал впервые и не знал, что после проверки всякое движение в ней замирает. В тщетной надежде, что мимо пройдет какой-нибудь заключенный, он простоял минут десять. От „волчка“ его оторвал легкий стук в боковую стену камеры. Ислям вздрогнул, стал прислушиваться:

„Да, стучат“,—и он прильнул к стене ухом.

Сомнений больше не было. Из соседней камеры доносились мерное отчетливое постукивание. Ислям понял, что с ним вступают в разговор. Его охватило отчаяние: ведь он ни чорта не понимает. В эту минуту Ислям проклинал себя за то, что не удосужился ознакомиться с тюремной азбукой.

„Проклятая беспечность!“ — он со злостью несколько раз порывисто стукнул в стену, чтобы дать хотя бы знать о своем присутствии.

Выстукивания прекратились. Ислям лег на пол. Лежать было жестко. Кости немилосердно ныли. Долго ворочался он с боку на бок и только к рассвету, когда усталость превозмогла боль, наконец уснул.

4. Брешь за брешью.

Первые дни Исляма страшно угнетало одиночество и томительное однообразие, царившее в этой большой клетке, где держали взаперти около тысячи человек. Больше всего на нем отражалось отсутствие общения с другими заключенными. Он положительно приходил в ярость от сознания, что рядом за стеной сидят люди, а он не может с ними хоть пару слов сказать. На прогулку его водили отдельно от других. Единственным развлечением для Исляма была „оправка“. В камерах „парашек“ не было, и его два-три раза в день выпускали „оправляться“ в уборную. Несмотря на то, что за ним туда по пятам следовал надзиратель, Исляму все же удавалось перекинуться какой-нибудь незначительной фразой с арестантами, которых он иногда там заставлял.

На пятый день пребывания Исляма в тюрьме он после завтрака, воспользовавшись отлучкой надзирателя из коридора, поглядывал в „волчок“. Вдруг к двери подскочила какая-то фигура в арестантском платье, и не успел Ислям опомниться, как у него в руках очутился туго свернутый, обвязанный ниткой пакетик, величиною

с мизинец. Он развернул его дрожащими от волнения руками. Кроме двух клочков бумаги и маленького карандаша, Ислям получил коротенькую записку:

„Сообщи подробности ареста. Сегодня тебя придут брить. Передай записку парикмахеру. Смирнов“.

Ислям не находил себе места от радости. Он то садился на пол, то вскакивал и начинал шагать по камере. Прежде чем порвать полученную записку, он прочел ее не меньше десяти раз.

Смирнов был политический заключенный, приговоренный еще в прошлом году к вечной каторге за то, что при советской власти был председателем какого-то вол-исполкома. Через него подпольный Красный Крест осуществлял связь с тюрьмой. Исляму это было известно, он даже почерк Смирнова знал, так как еще на воле неоднократно читал его письма из тюрьмы.

Часа через два в камеру к Исляму действительно пришел парикмахер. Парикмахер был татарин. Не взирая на то, что присутствовавший при бритье надзиратель ежeminутно на него покрикивал, чтобы „ворочался поживей и не лопотал по-собачьи“, он все же успел поделиться с Ислямом последними тюремными новостями и сказать несколько слов о себе. Ислям был не мало удивлен, когда узнал, что этот парикмахер тоже комсомолец. В тюрьме он сидел за уклонение от воинской повинности. Арестовавшей его контр-разведке и суду принадлежность парикмахера к Комсомолу осталась неизвестной, поэтому он дешево отделался — был приговорен к 8-и годам тюремного заключения. В тюрьме, в виду того, что брил не только арестованных, но и администрацию, он пользовался относительной свободой...

Парикмахер унес от Исляма мелко исписанный с обеих сторон листочек бумаги — записку, адресованную Смирнову.

Лиха беда — начало. За первой брешью, пробитой в непроницаемой стене, отделявшей Исляма от внешнего мира, последовала и вторая. На следующий день он получил через того же Смирнова на папиросной бумаге

записку с воли. Записка была зашифрована известным Исламу шифром. В ней сообщалось, что подпольная организация принимает все меры, чтобы следствие по его делу затянуть с тем, чтобы в военно-полевой суд оно попало по возможности позже.

Ислам воспрянул духом. Апатию как рукой сняло. Проснулась жажда жизни, а с ней и надежда на спасение. Надежда, правда, очень проблематическая, но все же...

Кто знает? В Крым могут ворваться красные... ворваться внезапно, а тогда...

Воображение Ислама уже рисовало картины одну другой радужней... Явилась уверенность, что судить его не успеют, что советские войска в ближайшие дни вступят в Симферополь.

В эту минуту Ислам забыл про Перекопские укрепления, забыл, что уже в продолжение больше полугода все попытки красных занять Крым неизменно разбиваются об Ичунские и Чонгарские твердыни... Вернее, не забыл, а просто не хотел думать, как не хотел думать и о том, что, если положение белых пошатнется и они будут вынуждены покинуть Крым, то перед отступлением расстреляют политических заключенных без суда, как расстреляли в Мелитополе и других городах.

Радостное возбуждение не покидало Ислама до самого вечера. Размечтавшись, он не заметил, как в пустовавшую до сих пор соседнюю с его камерой девятую одиночку кого-то привели. В эту ночь, впервые за свое пребывание в тюрьме, Ислам уснул в хорошем настроении.

5. Ночь, в которую можно поседеть.

Утром Исламу тюремщик шепнул, что зеленые вступили в Симферополь с двух сторон. Один отряд со стороны Ялтинского шоссе, через Собачью балку, другой — через Железнодорожную Слободку. Одновременно нача-

ось восстание и в городе. Все это произошло так внезапно, что белые не оказали почти никакого сопротивления. Боевая дружина Ревкома, не выпустив ни одного патрона, захватила стоявшие во дворе бывшего приюта Фабр пять броневинов, один из которых сразу направился к тюрьме. Тем временем зеленые, под прикрытием остальных четырех, разоружили расположенный в „Европейской“ гостинице офицерский батальон и двинулись к казармам, в которых помещались караульный полк, состоявший сплошь из мобилизованных, и несколько рот „корниловцев“. Караульный полк сложил оружие сразу, „корниловцы“ же забаррикадировались в корпусе, открыли по зеленым стрельбу. Сопротивление их было однако скоро сломлено: обстрел, начатый из четырех броневинов, заставил „корниловцев“ сдаться.

Стрельба привинулась к самой тюрьме. Начальник тюрьмы на требование подехавших на броневинов повстанцев выпустить заключенных ответил категорическим отказом. Начался обстрел тюрьмы. Испуганная администрация, в свою очередь, стала умолять начальника не губить себя и их бесполезным сопротивлением. Он не соглашался.

С грохотом обрушились тюремные ворота... Боевики ворвались во двор... Надзиратели в безумном страхе бросились кто куда... Начальник тюрьмы, грузный полковник с большими глазами на выкате, спасаясь от преследования, устремился в церковный коридор и кубарем влетел в камеру Ислама. В тот же миг на пороге, с револьвером в руке, показался член городского комитета Союза Молодежи, Васильев. Ислам бросился к нему в объятия, обо что-то больно ударился и... проснулся.

В камере было темно. Ни начальника, ни Васильева... только ноющая боль возле виска. Из коридора доносился топот ног и шумный говор. Не совсем еще придя в себя, Ислам всколыхнул на ноги и толкнул дверь; она оказалась запертой. Прильнул к „волчку“. Мимо камеры прошел с фонарем в руках надзиратель в сопровождении пяти

человек, вооруженных винтовками. Несмотря на тусклый свет, Ислям успел разглядеть офицерские погоны. В голове началась свистопляска. Он не мог сообразить, где кончается сон и где начинается действительность.

Рядом щелкнул замок. Кто-то хриплым пьяным голосом крикнул:

— Выходи... вашу мать!!!

На секунду все стихло. Вдруг тишину огласил душе-раздирающий вопль:

— Господи!.. За что?..

За стеной послышалась глухая возня, и Ислям через „волчок“ увидел, как из девятой одиночки выволокли двух заключенных. Один из них, на вид еще совсем мальчик, навзрыд плакал. Другой, более пожилой, испуская нечленораздельные звуки, с искаженным от ужаса лицом уцепился за стоявшую в коридоре скамейку. Удар прикладом по рукам заставил его выпустить скамейку...

Ислям понял:

„На расстрел ведут...“ — молнией пронеслось в голове. В глазах зарыбило, на лбу выступили крупные капли холодного пота...

Один из офицеров заметил Исляма и с циничным ругательством ткнул в „волчок“ штыком. Ислям едва успел отскочить. Еле сдерживая рвущиеся из груди рыдания, он опустился на пол.

В коридоре борьба длилась недолго. Несчастных увели. В тюрьме снова водворилась мертвая тишина.

В ушах Исляма всю ночь стояли вопли уведенных. Несколько раз он вскакивал и, как безумный, начинал метаться по камере.

„Идут за мной!“ — чудились гулкие шаги в коридоре, и ему казалось, что вот-вот раздастся грубый оклик „выходи!“

В эту ночь Ислям постарел на добрый десяток лет.

6. Не разговаривать!

Прошло две недели. Ислям уже вполне освоился с тюремной обстановкой. Вел регулярную переписку с другими заключенными и довольно часто получал письма с воли. Научился и перестукиваться. Когда по ночам являлись палачи за своей очередной жертвой, он уже больше не метался. Привык и к этому. Ислям уже знал, что как только кого-нибудь приговаривают к смертной казни, его сажают в девятую или десятую одиночку, а ночью приходят пьяные офицеры...

О своей слабости, проявленной в ту памятную ночь, Ислям вспоминал не иначе, как с улыбкой смущения. Тогда увели уголовных... За две недели, которые прошли с тех пор, в роковых одиночках побывало не меньше десяти человек. Были и политические. Они шли на смерть спокойно. Один даже встретил палачей пением Интернационала.

Но если Ислям привык к тюремным кошмарам и научился на них реагировать спокойно, то уж пустыми надеждами он себя тоже больше не тешил. Восстание в Симферополе ему больше не снилось.

Ислям примирился со своей участью и без трепета ждал суда и казни.

Однажды — это было во время обеда, когда Ислям, сидя на полу, с жадностью уплетал отвратительную тюремную «бурду», — в камеру неожиданно вошел надзиратель и угрюмо произнес:

— В контору.

Ислям не понял. Не вынимая изо рта ложки, он с удивлением взглянул на надзирателя. Последний рассердился и заорал:

— Тебе говорят али нет? Ишь расселся, барин! В контору требуют... Ступай!

Ислям вскочил.

— Суд?

Надзиратель безучастно пожал плечами:

— А я почему знаю? Может, и суд...

В сопровождении надзирателя Ислям направился в контору. Он не сомневался, что его сейчас поведут в суд. Но волнения не испытывал.

Что ж? Рано или поздно...

Контора была у самых ворот, которые вели на улицу. Когда они подходили, привратник как раз открывал калитку, чтобы кого-то впустить. У Исляма мелькнула безумная мысль броситься в калитку. Он метнулся, но — поздно, привратник ее уже захлопнул. К счастью, движение Исляма осталось для надзирателя незамеченным.

Они вошли в контору. За столом сидел помощник начальника тюрьмы Александров, тот самый великан с рыжими усами, который в первый день обругал Исляма за то, что последний лежал во время проверки. Несколько в стороне стояло четверо военных — один офицер и три солдата. Взглянув офицеру в лицо, Ислям чуть не вскрикнул... У него закружилась голова.

«Неужели опять сон?» — В молодом поручике он узнал начальника боевой дружины Коммунистического Союза Молодежи Васильева.

Последний, обратившись к Александрову, бесстрастным голосом спросил:

— Этот? — при чем кивнул на Исляма.

— Да, этот, — ответил Александров, — на-те расписались, — и протянул Васильеву какую-то квитанционную книжку.

Васильев расписался и, вытащив из кобуры револьвер, сухо произнес, обращаясь к Исляму:

— В контр-разведку на допрос, айда!

Солдаты взяли винтовки наизготовку... Исляма повели.

Он не знал, что и думать. Что Васильев мог оказаться провокатором или перебежчиком, ему в голову не приходило. Ислям знал его, как члена Симферопольского горкома РКСМ и как боевого революционного парня.

— Но тогда что же это за комедия?

Как только они вышли за ворота и Ислям увидел, что из тюрьмы за ними никто не наблюдает, он повернул голову к Васильеву, чтобы спросить, что это значит. Но тот, заметив намерение Исляма, резко крикнул:

— Не разговаривать!

Ислям в смущении отвернулся и, понуро опустив голову, зашагал дальше.

* * *

— ... Узнали мы, что контр-разведка со дня на день должна передать твое дело в военно-полевой суд. Ну, а там ведь разговор скорый. Сам, небось, знаешь. Решили — надо как-нибудь выручить парня... уж больно здорово ты держался на допросах. Областком о твоём поведении был осведомлен. Думали сначала на тюрьму нападение организовать, но... пороку не хватило. Вот Оскар и придумал эту комбинацию... Достали бланк контр-разведки и сварганили требование на допрос. Текст и подписи подделал Исаак, но так, брат, что и сам следователь не отличил бы... Взял я трех боевиков, нарочно тебе неизвестных, чтобы ты себя чем-нибудь не выдал, — я думал, что ты и меня не узнаешь, — и пришли в тюрьму... Ну, а дальше ты уже сам знаешь... Надо тебе сказать, что поджилки у меня тряслись здорово...

У Исляма на глазах показались слезы... Он порывисто обнял кончившего свой рассказ Васильева и чуть слышно прошептал:

— Спасибо, товарищ!

ПРОЦЕСС 17-й

„Процесс 17-й“... Под таким заголовком рассказывает № 146 подпольного „Одесского Коммуниста“ о кошмарной расправе с 9-ю юными товарищами, павшими жертвой издыхающей белогвардейщины.

После долгих месяцев самого дикого произвола вначале немцев, затем французов, англичан, греков и наконец скоропадчины и петлюровщины, в Херсон явилась долгожданная Красная армия. Восторг неописуемый. Как в первые дни революционного подъема, люди, совершенно незнакомые, целуются на улицах, поздравляют друг друга. Но время не ждет. Впереди колоссальная работа по восстановлению разрушенного и укреплению советской власти. Коммунистический Союз Молодежи выдвигает ряд юных, полных жизненной энергии и энтузиазма работников.

Но не долго длились радостные дни. Наступил август. Черные тучи нависли над Херсоном. После целого месяца отчаянного сопротивления наши войска, отрезанные от центра и окруженные со всех сторон противником, должны были оставить город. Все причастные к советской власти эвакуировались. Перебрались в Николаев, а затем в Одессу и юные коммунисты. Здесь, в царстве черносотенной своры, они опять принялись за подпольную работу. Но слишком смелы были действия юных подпольщиков, и белогвардейская лапа их скоро настигла. Арестовали 17 человек.

Все издевательства и пытки озверевших белогвардейцев ни к чему ни привели: сверхчеловеческой силой воли товарищи сдерживали рвавшиеся из груди крики и на все вопросы отвечали молчанием. Суд продолжался двое суток. В субботу, 4 января ст. стили, он закончился вынесением 9-и товарищам смертного приговора (через повешение), а остальных приговорили к каторге. Осужденные держали себя спокойно, бодро и стойко.

В последнем слове тов. Ида еще раз указала, что она вполне сознательно делала то, в чем ее обвиняют, зная, что по головке ее за это не погладят, но прощения или помилования она просить не собирается. Пусть только остальным невинным смягчат участь, а о себе она не хлопочет.

— Только и всего?—насмешливо спросила тов. Ида, выслушав приговор.—Знайте же, хотя бы вы каждый день убивали по 10 человек, наши товарищи каждый день берут по станции и доберутся до вас. Мы умираем молодыми, умираем спокойно, так как за нами и за нас пойдут новые сотни стойких борцов. Ваша песенка спета еще раньше, чем вы ее спели нам.

— Неужели вы думаете,—подхватил тов. Борис,—что бессмысленным убийством десятка человек, почти детей, вы совершили великое дело? Лучшие наши товарищи, старые партийные работники целы и ни на минуту не оставляют работу. Вы ничего не добились, лишний раз доказав свое бессилие.

Много им говорить не дали. Через 24 часа должна была совершиться казнь. Осужденные держали себя героически, даже стража плакала, видя, как радостно встречали смерть эти юные революционеры.

5-го вечером их должны были прикончить. Караул, и первый и второй, отказался вести на расстрел. Они прожили еще ночь. В понедельник, 6-го января в 9 часов вечера, за ними пришли несколько пьяных грузин, которые предварительно зверски издевались над осужденными и избивали их до потери сознания. Потом потащили их

в погреб, и в тот момент, когда красные войска победоносно вошли в город Херсон, началась страшная расправа над девятью юными коммунистами. Многие умерли не сразу. Их добавляли в пьяном озверении прикладами. Когда же после расправы несколько стражников полюбопытствовали взглянуть в погреб, страшная картина смерти поразила даже их, видавших виды.

9 человек с разможенными черепами сидели и лежали в разных местах. Тов. Безбожный с невестой лежали, обнявшись, в одном углу; тов. Ида, крепко сжимая руку Бориса,—в другом; подле них лежали разбитые винтовки. Кровавая расправа кончилась героической смертью этих молодых, но стойких и страстно преданных делу коммунистов. А на следующий день в подпольной газете „Одесский Коммунист“ появились следующие посмертные письма убитых, которые мы приводим целиком.

I

„9 коммунистов, осужденных 4-го января 1920 года военно-полевым судом при штабе обороны г. Одессы на смертную казнь, шлют свой предсмертный прощальный привет товарищам. Желаем вам успешно продолжать наше общее дело. Умираем, но торжествуем и приветствуем победоносное наступление Красной армии. Надеемся и верим в конечное торжество идеалов коммунизма.

Да здравствует Красная армия!

Да здравствует Коммунистический Интернационал!

Осужденные:

Дора Любарская, Ида Краснощекина, Яша Ройфман, Лев Сливак, Борис Михайлович, Дуниновский, Василий Петренко, Миша Пильцман и Поля Барк“.

II

„Дорогие товарищи. Я был арестован во вторник, т. е. неделю тому назад. При мне ничего не найдено. При аресте би. и, не веря, что я поляк. Весь вторник я провед в уголовном розыске, ночь со вторника на среду провел в Петровавловском участке. Приблизительно до полудня был свободен, так как думал, что меня отпустят скоро; через полчаса меня позвали на допрос. Там меня били около часу; били резинкой, ногами, крутили руки и ноги, одну ногу вытянули к лицу, другую к затылку, хватали за волосы, катили на пол и танцевали по телу, били в лицо, зубы, но так, чтобы не осталось поврежден“.

Ночью, забив меня моим молчанием, Иванковский, держа мою руку в руке, ударил меня револьвером по голове. Я упал, обрызгавшись кровью. Несколько раз падал в обморок. Под влиянием нахлынувшей апатии я сознался, что работал. Мне грозит смертная казнь, если до того не случится чего-либо исключительного. Ночью я два раза пытался выбраться из окна четвертого этажа, но меня хватали и снова били. На рассвете меня опять вызывали на допрос, требуя, чтобы я назвал фамилии или адреса товарищей, работающих со мной. Снова бились долгое время и ничего не добились, так как на все вопросы я отвечал незнанием. Велели подписать дознание, в том, что я уже сознался. Я подписался, после чего Иванковский, махнув рукой, велел отравить меня в какой-нибудь участок. Фактически я уже распрощался с жизнью, и если волею случая останусь жить, это будет для меня приятный и неожиданный подарок, выигрыш жизни. Теперь, когда рана на голове зажила, когда боль во всем теле не так ощутительна и живительные силы снова овладели организмом, а ближайшие перспективы на волю так заманчивы, хочется жить, жить во что бы то ни стало. Без борьбы я не сдаюсь, без борьбы не умру, и если все же придется умереть сейчас, то встречу смерть с высоко поднятой головой. Прощайте.

Ваш Зиг“.

III

„Дорогие товарищи!

Я уже писал вам, что пал жертвой провокации. Под влиянием пыток и избиений я сознался. Сегодня предстоит суд скорый, но неправый. Меня, возможно, расстреляют. Ухожу из жизни со спокойной совестью, никого не выдав. Будьте счастливы и ведите дело до конца, что мне, к сожалению, не удалось.

Пишу в то время, когда осталось 24 часа жизни. Только что окончилось заседание военно-полевого суда, которое присудило меня и других товарищей к смертной казни через повешение. Настроение очень веселое, бодрое, ибо знаем, за что умираем. Я уверен, что мои младшие братья пойдут по моим стопам и отомстят кому следует. Писать больше не хочется. Привет всем. Оставайтесь счастливы.

Борис (Туровский)“.

IV

„Милые родные, через 24 часа меня повесят в навидание потомству. Ухожу из жизни с полным сознанием исполненного долга перед революцией. Не успела много сделать. Что ж? Глубоко убеждена, что процесс 17 человек имеет большее значение для революции, чем смерть 9 человек из их числа. Милая сестра, не тужи обо мне, будь революционеркой, успокой маму. Завещаю твоему малышу сделать то, чего не успела сделать я на революционном поприще. Очень бодр, удивительно спокойна, и не только я, а и все остальные. Поем, ведем беседы на политические темы; после 2-х недель ареста сразу почувствовала себя свободной. Только жалею и тужу, что осудили меня слишком строго. Мне 20 лет, но я чувствую, что за это время стала гораздо старше. Мое желание в настоящий момент, чтобы все мои близкие отнеслись к моей смерти так, как отношусь я: легко и сознательно. Прощайте. Да здравствует коммунистическая революция.

Ида Краснощекина“.

V

„Славные товарищи, я умираю честно, как честно прожила свою маленькую жизнь. Через 8 дней мне будет 22 г., а вечером меня расстреляют. Мне не жаль, что погибну так. Жаль, что мало мною сделано для революции. Только теперь я чувствую себя сознательной революционеркой и партийной работницей. Как вела я себя при аресте, при приговоре, вам расскажут мои товарищи. Мне говорят, что я была молодцом. Целую мою старенькую мамочку-товарища. Чувствую себя сознательной и не жалею о таком конце. Ведь я умираю, как честная коммунистка. Мы все, приговоренные, держим себя прилично, бодро. Сегодня читали в последний раз газету. Уже на Берислав, Перекоп наступают. Скоро, скоро вздохнет вся Украина и начнется живая созидательная работа. Жаль, что не могу принять участия в ней. Ну, прощайте, будьте счастливы.

Дора Любарская“.

VI

„Дорогие товарищи, еще несколько часов осталось жить. Бодро идем умирать, сознавая, что на воле остались товарищи, которые продолжают работать, и что дело великое близится к торжеству.

Яша Безбожный“.

VII

„Дорогие товарищи! Еще 24 часа осталось жить, но мы не унываем и не падаем духом. Умираем с полным сознанием, что правое дело, за которое мы умираем, восторжествует. Надеемся, что наша смерть не пройдет даром, Рабочий класс увидит воочию, что принесла им добровольческая армия. Прощайте.

Поля Барк“.

(„Правда“ № 88, 26 апреля 1930 г.).

РАСКЛЕЙКА ПРОКЛАМАЦИЙ

(Из гетманского подполья).

Солнце скрылось. В сырой кузнице стало темно.

Ратманский, наклонившись над маленьким столиком, смазывает гуммиарабиком прямоугольные листки воззвания к немецким солдатам. Он одет, как всегда: в синей, немного слинявшей рубашке, черных, немного замаранных брюках, лоснящихся спереди, как кожа, и в искривленных сапогах.

Мальчиков раскладывает листки сушиться: каждое воззвание берет не спеша и аккуратно кладет одно к другому.

— Ты скорей!—торопит его Ратманский.

— Скорей умер, остался младший брат его: не спеши,—отвечает Мальчиков, улыбаясь.

— Завтра будешь философствовать!

— У тебя там готово?—спрашивает Мальчиков, открывая дверь кладовой.

— Да,—отвечает он, наливал воду в бутылку. Разделили прокламации, взяли по бутылке воды и отправились за своими путниками.

* * *

Ратманский и Семенов шагают по темным переулкам Лукьяновки. Они идут медленно, как будто гуляют. Временами они останавливаются, оглядываются, и если

поблизости никого не видно, то Семенов брызгает на доску забора или телеграфный столб, а Ратманский наклеивает воззвание.

Павел Семенов в группе членов подпольной организации „Социалистического союза рабочей молодежи“ очутился, точно свалившись с неба.

За несколько дней до немецкой оккупации гор. Киева он познакомился с Мишей Ратманским и сразу с ним сдружился. Его дружба с Ратманским была неожиданно. Миша не долюбил интеллигентов и не доверял им. Семенов же был тогда одним из младших чиновников государственного банка, носил форменную шапку с двумя гербами, стоячий воротник, галстук и обтертый пиджак: разговаривал, как особо типичный интеллигент. Несмотря на это, Миша через несколько месяцев совместной работы предложил его кооптировать членом общегородского комитета ССРМ. Через месяц Семенов, идя с нами по Крепости, сорвал свой галстук, кокарды и забросил их на мостовую.

— Вот вам все мое былое величие,—заявил он, смеясь.

Они подошли к тюрьме, завернули за угол и пошли вдоль длинного каменного забора. Виднеются Лукские казармы.

— Стой! Кто идет?—раздался окрик.

Из казармы вышли вооруженные люди. Семенов остановился, посмотрел в их сторону и повернул обратно. Ратманский последовал за ним. Они прошли несколько шагов. Навстречу гайдамаки. Ратманский и Семенов пошли снова в сторону и снова наткнулись на гайдамаков.

— Вы кто такие? Куди идете?—спросили гайдамаки, окружив Павла и Мишу.

— Я—служащий государственного банка,—сказал Семенов.—А це кеканчик,—указал он на Ратманского.

— Ми були у знакомих хлопців, випили там трохи, у карти пограли, а тепер до дому ідемо. Тут наша хата нідалеко—на Дячках.

— Ходим в штаб,—сказал высокий гайдамак.

— Чего це я пиду?

— Не балакай, ходим!—толкнул их гайдамак.

— Отпусти! Мати одни дома, не буде вона знати, куда ми дились. Отпустить, будьте ласкови,—жалобным тоном невинного ребенка просил Семенов.

— А може, це ви листовки раскидали?—спросил молоденький гайдамак, подозрительно осматривая их.

— Яки листовки? Ми тут нидалеко живем. До дому йдемо,—Семенов твердил.

— Айда!—объявили два гайдамака, отделившись от остальных и взяв винтовки на перевес.

Пошли.

„Амба, не выкрутимся“,—думает Семенов. Засосало под ложечкой, заняло сердце тоскливо...

— К чорту!—вслух проговорил Семенов и, вытянув из кармана бумаги, спустил их вниз. Бумаги ударили о землю... Сердце стукнуло. Дрожь пробежала по телу...

— Ну, слава богу, не заметил,—прошептал он. „А при чем тут бог?“—подумал и зло сплюнул...

— Бросил свои?—еле слышно спросил Семенов...

— Не могу вытянуть!

Жалобно взвизгнула калитка тюремного двора, на которой написано „Штаб Сердюцкой дивизии“, и захлопнулась за вошедшими.

— Бросил?

— Нет.

— Бросай немедленно.

Пачка шлепнулась в лужу. Ратманский вздрогнул, нагнулся на лоб шапку. „Темная ночь, выручай“—вспомнился отрывок песни.

Горько усмехнулся.

— Сюды!—толкнули их гайдамаки, открывая дверь тюремного здания.

Семенов и Ратманский очутились на каменной, грязной, ярко освещенной лестнице.

— Я пиду скажу, а ты тут гляди,—буркнул гайдамак уходя направо.

— При мне устав союза,—шопотом сказал Ратманский. Семенов вздрогнул и побледнел. Потом вынул папиросу из кармана и обратился к солдату.

— Будьте ласкови, дайте сирника, я свои забуду. Гайдамак обернулся к Семенову. Ратманский быстро вдвинул скомканную бумажку в отверстие лестницы.

— Веди!—довнес голос ушедшего вправо солдата.

Они вошли в большую, плохо освещенную комнату. У стола сидит заспанный хорунжий. Лицо наркотика: нос, как бурак, глаза опухшие. Зевает...

Гайдамаки рассказали хорунжему, где задержали Павла и Мишу.

Хорунжий поднялся, пристально осмотрел Семенова и Ратманского и, нахмутив лоб, по-русски спросил:—

— Вы кто такие?... Куда ходили?

Семенов повторил сказанное гайдамакам.

— Отведи их,—указал на дверь хорунжий, зевая.

— Отпустите, дома мати одна,—стал просить Семенов.

— В холодную!—приказал хорунжий.

— Будьте ласкови! Мати не знае, куда ми дились,—снова попросил Семенов, тыча чиновничье удостоверение.

— Обыскать!—лениво проговорил хорунжий.

Солдаты стали их ощупывать.

— Оружия нема,—сказал солдат, обыскивающий Ратманского.

— А це що таке?—спросил гайдамак, вытягивая бутылку из бокового кармана.

Семенов побледнел.

— А ну покажи!—крикнул хорунжий.

Гайдамак подал бутылку.

— Это что такое?—обратился он к Семенову.

— Це свята вода, матери несуд,—ответил он, опустив глаза.

— А чего она бензином воняет?—снова спросил хорунжий, вода носом вокруг бутылки.

— Не было другой, а це мати мила, мила, а вона поня.

— На бутылку! Иди и больше не попадайся!— объявил хорунжий.

Семенов и Ратманский пустились из комнаты. Солдаты открыли им калитку, и они на свободе...

Темная ночь приняла их в свои объятия, окутав невидимой пеленой. Ветер обвеял их лица.

— Хорошо отделились,— проговорил Ратманский и, взяв Семенова под руку, пошел с ним смелой поступью...

* * *

Небо заволакивается тучами: звездочек становится все меньше. Улицы пусты. Изредка спешит запоздавший прохожий.

Из-за горы вышло три человека, остановились у большого серого забора. Повозились около него и пошли дальше. Это Мальчиков, Аронова¹⁾ и Ципенко. У Мальчикова в кармане бутылка с водой, а у Ципенко карманы набиты воззваниями. Издали они походат на маленьких детей, удравших из дому.

— Руки вверх, ни с места!— раздался оклик.

Не успели они оглянуться, как окружил их отряд варты (полицей).

Начался обыск...

— Это что такое?— закричал начальник, вытаскивая немецкие воззвания и разглядывая их.

Жуткое молчание...

— А это?— спросил он, вынимая бутылку.

Молчание.

Трах-х-х... звонко раздалась пощечина, будя ночную тишь, за ней другая, третья...

¹⁾ Люба Аронова—17-летняя девушка, еще полуребенок, полная жизни, энергии и силы; погибла в комсомольском отряде под Тряпильем.

Подталкиваемые вартowymi, Мальчиков, Аронова и Ципенко вошли в канцелярию дворцового полицейского участка.

— Где взял эти прокламации?— обратился дежурный по варте к Ципенко.

— Не знаю,— ответил тот.

— Как не знаешь?— заорал дежурный и ударил кулаком в лицо.

Кровь хлынула из носа и рта. Трах... трах... посыпалась пощечины...

Голова кружится, ноги подкашиваются, вот Ципенко упадет, но он выпрямился и сквозь слезы повторял снова: „не знаю“.

— Говори, а то пристрелю, как собаку!— заорал офицер, тыча в рот Ципенко дуло револьвера.

Ципенко, стиснув зубы, молчит...

— Где взял прокламации?— обратился дежурный к Ароновой.

Молчание...

— Говори, дрянь!— заорал дежурный, схватив ее за волосы.

— Не скажу!— заявила она решительно.

— А... не скажешь?!...

Удары кулаками, нагайкой посыпались по лицу...

Мальчиков, прислонившись к стене, дрожит. Лицо его бледно, глаза горят. За несколько пережитых часов он похудел, осунулся, постарел. Едкая злоба, ненависть, месть глубоко засели ему в душу. Он хочет двинуться с места, ноги отказываются служить. „Больно развит инстинкт самосохранения“,— подумал он, горько улыбаясь. Вдруг он рванулся, стиснув зубы, сжал кулаки и бросился меж офицерами и Ароновой, крича изменившимся голосом:

— Бейте лучше меня!..

Офицеры отскочили в сторону, постояли с минуту, раздумывая, и все бросились на Мальчикова; он отско-

чил к стене. Со всех сторон потянулись к нему руки, перекинули его и стали топтать ногами, крича:

— Заступаться!... Будешь заступаться!?

Аронова и Ципенко бросились к Мальчикову. Их схватили, повалили, топтали ногами, подымали, снова валили и все били. У одного руки заболят, другой бьет...

В сыром подвале-карцере темно. Вонь... На мокро-грязном каменном полу сидят Мальчиков, Аронова и Ципенко... Лица опухшие, под глазами синяки, тела ноют, рук и ног не чувствуют...

Мальчиков подбодряет Ципенко и Любу и дает наставления, как держаться и о чем говорить на допросах. Ципенко уснул. Люба, положив голову на колени Мальчикову, тоже заснула. Мальчиков задумался. Пред ним всплывает последний день на свободе. Вспомнился коллектив рабочей молодежи гвоздильного завода: энергичные, смелые лица; один парень всплывает за другим, и перед этими лицами лица вартовых офицеров становятся маленькими, ничтожненькими... и совсем уплывают...

Голова опустилась, и он уснул...

Виктор Брайний

ПОДПОЛЬНАЯ СТРАДА

Денигинское подполье в Одессе.

На вокзале невозможно пройти. Снаряды ложатся на перроне и платформах. Последнему уходящему поезду рядом оторвало хвост из двух теплушек.

Пробираюсь в Английский клуб. „Отец“¹⁾ кончает печатать бланки с полным спокойствием. Кажется, если бы к нему ворвались добровольцы, он им тоже выдал бы бланк.

Ухожу на Молдаванку... В районе разгружают имущество по квартирам. В семь часов вечера в районе никого нет; мы перешли на зимние квартиры.

В берлогах Молдаванки.

В Треугольном переулке я засел довольно основательно. Несмотря на уже хмурающуюся погоду, у нас в комнате „тепло“ и уютно.

Медленно, стопку за стопкой, кидаем мы в печку анкеты, партбилеты, дела Губнаркома и Молдаванского района. В комнате тропическая жара, повсюду разлетается пепел от сожженных бумаг.

¹⁾ Прозвище т. Г. Ларского, одного из руководителей одесской организации КСМУ.

„Волчата“ на работе.

Через два дня я кончил свою работу. От двух больших мешков дел не осталось ни одной бумажки. Вечером, вылезши из своей берлоги, я пошел в центр города. На Рипельевской улице, на перекрестке трамваев, остановился передохнуть. Вдруг сзади приближается Игнат¹⁾ с двумя студентами. В одном из студентов я узнал Тарханова²⁾, который собирался ехать в Крым. Игнат сделал мне знак, который означал: „ты нас не знаешь“. Я не моргнул глазом и пошел в обратный путь на Молдаванку. Около своей квартиры встретил Колю Чудновского. Решили немедленно организовать коллектив. Наметили список подходящих ребят, тех, чей адрес нам был известен.

Через два дня в сырой подвальной комнате Чудновского, окна которой выходят в дворовый клозет, собралось человек восемь.

Член общегородского комитета Ларский—ныне почетный член одесской организации—учил нас, еще молодых волчат, всем правилам подпольной работы. В бюро коллектива были избраны Чудновский, Бельский и я. На этом же собрании все члены коллектива выдумали себе клички. Не обошлось и без курьезов. Бельский, видом похожий на ворону, решил назвать себя „орленком“.

С этого собрания жизнь коллектива потекла регулярно. По понедельникам и четвергам мы собирались. Лин (А. Бродский), тогда член ЦК первого созыва, читал нам лекции, по которым происходили оживленные дискуссии. Коллектив быстро вырос до 10 человек. Некоторые члены говорили потом, что эти занятия дали им больше, чем месяц учения в губпартшколе.

На собраниях коллектива большую роль играла карта России, вся изъеденная линиями передвижения доброволь-

¹⁾ Секретарь подпольного одесского комитета КСМ (в 1919 г.), позже секретарь ЦК КСМУ.

²⁾ Тогда член комитета, сейчас—член ЦК РЛКСМ и один из руководителей ИК КИМ.

ческой армии, израненная булавками. Докладчик „военного обозрения“ читал отрывки с телеграмм, запрещенных цензурой, и „Современное Слово“, демократическую газету.

Каждый миллиметр на карте, когда „славыным рейдом Мамонтова“ была взята Тула, острой, режущей болью отдавался в наших сердцах.

По целым часам строили мы стратегические планы.

Подпольная страда.

Наш коллектив находился около явки областного комитета партии и „Красного креста“. Поэтому мы были завалены работой. Мы распространяли по заводам „Коммунист“—газету партии.

Громадная одесская тюрьма быстро наполнилась. Каждую ночь увозили оттуда приговоренных к расстрелу. По средам и воскресеньям нужно было носить передачи и „керенки“ тем, о ком было постановление „Красного креста“. Иногда у ворот тюрьмы можно было видеть почти весь наш коллектив. Переписку с заключенными сперва мы вели так: вкладывали им в хлеб или в пирожное записку. Но пирожное поедали надзиратели, а хлеб они резали на мелкие части, что представляло опасность быть пойманным.

Тогда мы стали применять следующий способ: между газетными строками писали записку и заворачивали в написанное масло. Этот способ, самый простой, лучше всего удавался.

Во время одной из передач сообщили, что Роза узнана и, вероятно, будет расстреляна. Она просила, чтобы для нее и ее товарки прислали какой-нибудь сильный яд, чтобы избежать насилий и пыток. „Красный крест“ решил отправить ей сернистый калий. Знакомый жестяник сделал две кастрюли с двойным дном, куда я положил пробирки с калием. В воскресенье мы наполнили кастрюли с калием и пошли к тюрьме. Надзиратель принял кастрюли

и стал ковырять в них пальчиком. Дно кастрюли не выдержало и стало оседать. Чудновский заметил беду и, замешавшись в толпе, улетучился в мою берлогу.

Через несколько дней мы получили от Ал. записку о том, что Роза посажена на три дня в карцер, но ее, вероятно, не расстреляют. Он же прислал нам план тюрьмы и расстановки караулов. В объяснительной записке он сообщал, что достаточно 25 человек, чтобы освободить тюрьму.

Партия и союз стали выделять боевиков для этого дела. Но через два дня караул заменили 60 немцами-колонистами и установили 3 пулемета на заряде. Очевидно, здесь сыграли свою роль провокаторы. Все же дружина осталась и была разбита на десятки. Тов. Хворостин часто заходил к нам в коллектив. Он очень любил нас и называл „коммунистическими головастиками“. Головастики видели его за час перед тем, как его схватила контр-разведка на улице. На другой день после ареста он от 150 раскаленных шомполов умер, не издав ни одного звука.

В старом большевистском доме.

Союз растет и организационно крепнет. Очень хорошо работают коллективы металлистов, кожевников. Молдавский район восстановлен. Секретарь—маленькая Таня.

За месяц арестов и расстрелов успели организовать Пересыпский район. Работают там Васютин¹⁾ и трое 16-летних юношей с завода Левина и Краковщинского (двое из них, Острой и Латман, были расстреляны в контр-разведке и умерли, как герои).

Созывается общегородская конференция. Союз насчитывает 150 человек и 12 коллективов. Чувствуется необходимость связи всей организации, как это было в гет-

¹⁾ Позже секретарь одесск. губкома, секретарь ЦК КСМУ и секретарь ЦК РКСМ.

манском подпольи. Эта связь найдена в училище Лигина. Училище Лигина—старый большевистский дом. В 1917 году это была штаб-квартира общегородского комитета РС-ДРП (большевиков). Теперь здесь „прогрессивные учителя“ решили устроить вечерние курсы для рабочих. Все коллективы почти целиком записались на курсы. Занятия на курсах поистине замечательные. Добрая половина ребят—в первой группе, где обучают грамоте. Учительница вызывает „Орленка“, и целый час он читает по складам: Б—А БА. Однако он довольно хорошо читает, и учительница им довольна.

В это время на партах идет перестрелка записками. Читают гранки... Передают друг другу „Коммунист“. Рассказывают подпольные новости. Вытаскивают карты и намечаются фронты. На переменах создается впечатление общего собрания. Шум, галдеж, но с полным соблюдением осторожности. Только урок политической экономии слушался с захватывающим интересом. Читал ее блестящий лектор-популяризатор.

Так в старом большевистском доме пульсировала, была ключом подпольная жизнь союза.

7-го ноября.

К празднованию 25-го октября „они“ были готовы. Рано вечером на улицах пусто. Взад и вперед рыскают офицерские патрули и арестовывают всякого „подозрительного“. В автомобилях замаскированные пулеметы.

Наше оружие тоже готово. Выпущена газета „Коммунист“ и листовка от комитета союза к рабочей молодежи. Сегодня клейстер в этот раз мы приготовили особенно хорошо и разливаем в 4 банки. В 12 часов ночи Чудновский, я и Рябой вышли на улицу. Глупая, полная луна палит свои зенки и заливает ровным светом мостовую и правую сторону улицы. Впереди пошел Рябой для предупреждения, вторым я с кистью, мажу клейстером по стене, Чудновский наклеивает листовки.

Топ, топ, топ...—успокоительно звучат шаги Рябого впереди. 4 листовки и 1 газета белеют на стенах.

Пересекаем толкучий рынок. Нас останавливает патруль государственной стражи. Прячу поглубже банку с клеем и кисть. Стражники пьяны, как стельки. Сто рублей—и мы свободно вздохнули.

Топ, топ, топ...—вниз по Колонтаевской на Дальник. Одна за другой прихлопываются газеты, листовки на стенах, окнах магазинов и столбах. Чудновский говорит, что осталась еще одна листовка. Идем к союзу русского народа на Новосельскую улицу. Никого вблизи нет. Приклеили листовку аккуратно, красиво и стали любоваться.

За углом послышался топот приближающегося патруля. Мы даем скорей ляху на Тираспольскую. Из огня да в полымя. Нарываемся на другой патруль—„стой, руки вверх“. Подошли 4 стражника.

„Давайте три куска“.—Нет, братишки, есть только 600 рублей.—После короткого торга они сговорились. Если бы нарвались на офицерский патруль, то пропали бы с колпачком и кисточкой.

Вот мы и дома. Погрозили кулаками луне-провока-торше.

На следующий день мы обходили места, где расклеивали. Мало осталось листовок. Почти все были сорваны.

На погребальных дорогах.

Партийные ячейки проваливаются одна за другой. Одни из них достаются контр-разведке пустыми, в других захватывают работников посредством засад.

Все явки к декабрю месяцу полупровалены. До сих пор мы провалились косвенным образом. Теперь арестовали Игната. Югова¹⁾ арестовали и выпустили.

К нам влез, очевидно, какой-то провокатор. Генерал

¹⁾ Один из создателей и руководителей одесской организации, член ЦК КСМУ.

Шиллинг действительно готовится к эвакуации, и контр-разведка старается выловить как можно больше коммунистов. Через день после своего короткого ареста Югов и Гарин пришли к нам на квартиру. Устроили читку Каутского „Аграрный вопрос“. Долго спорили и засиделись до двух часов ночи. Легли спать в половине третьего.

Через полчаса слышу сквозь сон шум под выходящими на улицу дверями. Повернувшись на другой бок, стараюсь уснуть. Вдруг сильный стук в дверь. В комнату ввалилась орда контр-разведки, во главе с полковником Смержевским и заплечных дел мастером Поддубным. В несколько минут комнату перевернули вверх дном. Поддубный взял ватные штаны и долго крутил и тянул их, ругаясь в нос. Смержевский открыл комод и увидел там сочинения Маркса, Энгельса, Ленина, карту десяти-верстку, листы керенок.

Полковник Смержевский поворачивается к стоящему возле Югова и грозно говорит:

— Вот они самые идейные коммунисты!

В Югова точно бес вселился.

— Позвольте, господин полковник, литература эта не коммунистическая, а меньшевистская, издания 1907 года.

В то же мгновение тяжелый приклад обрушился на живот. Югов, как мячик, отлетает в другой конец комнаты.

В шкафу стоит передача для левого эс-эра, профессора Щенкина.

Блюма приготовила для передачи прекрасный пряник и запекла туда записочку. Матери приходит в голову, что стражникам понравится пряник. Она разрезает пряник и дает мне кусок. Записка попала мне на зуб. Я разжевал ее и проглотил. Тем временем обыск в комнате окончился. Полковник Смержевский положил найденные деньги в бумажник и дал нам „расписку“.

Дворник обмолвился, что в этом же дворе живет моя бабушка. Наступила для нас самая критическая минута. У бабушки ночевал сегодня секретарь „Красного креста“.

В большом окованном сундуке находились паспорта, листы керенок, адреса, переписка с тюрьмой, сотни номеров газеты „Коммунист“. Ну, теперь мы пропали. Клозет находится напротив комнаты бабушки. Гарину очень надо „до ветру“. Но проходят три томительных минуты. Гарин возвращается. Он передает, что в окне бабушки темно. Возвращаются шпики. Они долго искали комнату Келлер. Один докладывает:—Спускаемся мы в подвал, вонь там невыносимая, пахнет мертвечиной. И впрямь, мертвый жид лежит на полу, покрыт черным саваном. Кругом старухи жалобно читают. Прошли мы в комнату Келлер. Там старуха одна. Ничего не отыскивали. Только тысячу керенками.

Смаржевский велел нам одеваться. Мать и отец стали просить оставить хотя бы 9-летнего братишку. Но Поддубный успокоил нас:—„Ничего, печеночки всем вам починим“.

Медленно одевала братишку мать, словно стараясь выхватить еще час свободы. Наконец все одеты. Смаржевский велит нам нести корзины с книжками. Корзины пудов в двенадцать. Вышли на улицу. Корзины оттягивают руки. Дальше нести их не можем. Между тем идет четвертый час. Поддубный велит тогда запрячь погребальные дроги и нагрузить туда корзины.

На катафалк 1-го класса взваливаем книги. Медленно подвигается печальная процессия по Тираспольской улице. Югов взял братишку на руки и понес, прижимая его к себе. Вот мы и на „кладбище“, в контр-разведке. По коридорам зашевелились шпики, заплочных дел мастера, готовясь дать нам достойный прием.

Через месяц, когда жизнь наша находилась на волоске, мы были освобождены бригадой Катовского. Даты освобождения не забуду никогда: 25 января по старому стилю, искусанные паразитами, мы были на свободе.

Союз уже занял училище Ефруссии и предоставил в распоряжение губревкома 150 штыков.

Ф.

НАКАНУНЕ

Еще 25 апреля подпольная конференция городского района с напряженным вниманием выслушала доклад по текущему моменту. Глубокий, всесторонний доклад тов. В—па, развернувшего картину борьбы Советской России с Антантой, осветившего задачи, стоящие перед бакинским пролетариатом, сделал близким и понятным лозунг, которым он закончил свой доклад: „К бою готовься“. Как-то сразу осозналось то, что чувствовалось давно, к чему все время готовились, чего ждали со дня на день.

Но, как всегда, этот короткий, веский и многозначительный лозунг, скорее боевой приказ, заставил сильнее напрячь свои нервы в ожидании решительной схватки. Стало понятным и так просто ясным, что провал коллективного договора—угроза приближающейся безработицы.

Массовые аресты, убийства товарищей, совершаемые в какой-то лихорадочной тревоге реакции муссаватской власти, организованная резня (армяно-татарская)—все это может быть раз навсегда усмирено смелым, решительным натиском бакинских рабочих. И к этому натиску дана предварительная команда „готовься“.

Не успели разойтись с конференции — новые вести. Завтра утром экстренное заседание Бакинского комитета. Настроение напряженное, особенно резко чувствуется всякое проявление действий муссаватской власти.

Каждое известие о новом аресте, о новом „строжайшем“ приказе озлобляет и заставляет сжимать кулаки.

26-го, в понедельник утром, заседание Бакинского комитета в том же Центр. Рабочем клубе; читается приказ Центрального комитета партии о прекращении с сегодняшнего дня всяких собраний и заседаний. Комитеты выделяют „тройки“, которые связываются непосредственно с районными боевыми штабами. „Тройки“ организуют боевые десятки, устанавливают „явки“ и по-военному кратко: „исполнить в течение сегодняшнего дня и ждать приказаний от штаба“. Приказ прочтен. Начались было обсуждения. Оборвали. Нужно торопиться. Быстро и в то же время обдуманно выделили „тройки“ по районам. Немедленно приступили к работе.

„Тройка“ Городского района: тов. Бабаян, Шлемова и я, наскоро посоветовавшись, выяснили способ оповещения ячеек о явке на регистрацию сегодня же вечером. Явку наметили в помещении проф. союза печатников, нашего старого, постоянного убежища.

К обеду пошли сниматься. Хотелось в ожидании чего-то большого, сильного закрепить образы группы товарищей, спаянных совместной подпольной работой.

Весенний, солнечный апрельский день. На „Парапете“¹⁾ собрались группой в ожидании некоторых товарищей. Весь „Парапет“ усеян няньками с детьми буржуазии. На скамейках, лениво развалившись, сидит расфранченная публика, читая газеты.

Греются на солнышке...

Подошло еще несколько ребят к нашей группе. Завязался разговор.

Аресты, кризис кабинета... Красная армия заняла станцию Хачмас... Генерал-губернатор собирается объявить осадное положение... наших ребят, арестованных во время заседания подпольной конференции в Сабунчах, перевели из арестного дома в Баилловскую тюрьму.

¹⁾ Сквер посреди города.

Перебрасываемся фразами, новостями, и почему-то удивительно глупыми кажется и эта расфранченная публика, сидящая на скамьях, расхаживающая по „Парапету“, и их самодовольное спокойствие. А в голове бродят мысли: „С кем из них придется столкнуться тогда, когда...“

Подошли остальные.

Пошли.

Через час я снова забежал в Рабочий клуб.

В клубной комнате, где мы обыкновенно играли в шашки в ожидании сведений, приказов, извещений, сегодня какое-то странное оживление.

Резкие движения; говорят отрывисто, бросая слова, едва оканчивая фразу, изображая ее на своем лице. Двери в комнату правления беспрерывно хлопают, товарищи входят, выходят.

— А! Ты здесь?—обращаясь ко мне, говорит тов. Соколин.—Пойдем, ты мне нужен.

Вхожу вместе с ним в комнату правления.

— Вот вам политком городского района,—обратился он к стоявшему за столом товарищу, указывая на меня, и почти что не мне, а как-то в сторону, совсем в пространство, быстро шепнул:—Условься с ними и делай, что нужно.

В двух словах столкнулся с товарищем: завтра вечером к нему на квартиру. Там состоится совещание всех районных политкомов „Красного креста“. На совещании прийти со всеми необходимыми сведениями...

Собираюсь уходить из клуба. Подходит товарищ.

— Вот твоей тройке пропуски в Рабочий клуб, завтра он будет закрыт.—На моем лице молчаливый вопрос.—Во избежание налета полиции,—совсем на ухо прошептал товарищ.

В условленное время я пришел в союз печатников—место нашей явки. Там уже были двое из „тройки“. Выработали форму регистрации:

„Ячейка, каким оружием владеешь, служил ли раньше, умеешь ли обращаться с оружием“ и т. д.

Через час маленькая комнатка начинает наполняться нашими ребятами.

— Тов... товарищи,—торопливо подбегает один из товарищей: — что-то подозрительно: пики, кажись, пронюхали, что-то больно подозрительные типы вокруг да около вертятся.

— А ну, парнишки, живо на посты! Вот вам газеты, стойте по двое на углах, читайте газету, да смотрите, не провороньте, зорко смотрите. Смену пришло через полчаса,—откомандировываю я четырех парней.

И тут же короткие приказы каждому после опроса:

— Завтра на работу не выходить. Явиться за распоряжениями сюда к 10-и часам утра. Проболтаешься—свинцовым гостинцем угощу.

Ребята толпятся. Подняли шум. Разгоняешь их, растолковываешь, чтобы не шумели и убирались бы, кто зарегистрировался: и так уже следят за домом, а тут такое скопление. Не уходят, каждый спрашивает, в каком он десятке, кто десятник, когда получают оружие, и чувствуешь, что не это все ему важно—в голове у каждого сверлит гвоздем мысль: „Скоро уже, скоро, но когда наконец! Терпение лопается“.

Из Рабочего клуба вестовой: прислать немедленно 10 товарищей для расклейки по городу воззваний и прокламаций.

— Товарищи, кто пойдет? — спрашиваю. Все толпой двинулись на меня.

Отсчитал 10 товарищей нестроевых и послал. С завистью посмотрели ребята на уходящих.

— В дело пошли,—пробормотал кто-то у меня за спиной.

К 10-и вечера закончили работу. Подсчитали, проверили списки. Нет, сегодня сделать еще нельзя, не все зарегистрированы. Придется завтра.

Связались со штабом—приказ: „Завтра к часу представить списки разбитых на десятки по роду оружия.

Вечером прислать десятников на собрание. Адрес такой-то“. Поздно разошлись по домам...

И только ложась спать, почувствовалась та лихорадочная, в каком-то порыве проделанная работа за этот день.

Спокойный, нормальный вид внешней жизни города, самодовольно-сытые лица городской буржуазии, гулявшей по городу, резким контрастом выделялись в противовес внутри себя сдерживаемому порыву, лихорадочной поспешности, заставившей позабыть даже об обычных приемах конспиративной, подпольной работы.

В то же время мысли разбрасывались, останавливаясь на мелких, зачастую ничего не значащих моментах прошедшего дня, не будучи в силах объединить калейдоскоп быстро сменяющихся явлений.

Чувство все вот-вот приближающейся и начинающейся непосредственной борьбы, все ширясь и ширясь, выросло в огромную массу, которая давила сознание.

Это чувство, и только это, смогло и всегда приводит к такому состоянию, когда ни о чем не думаешь и в то же время внутренне становишься все сильнее и сильнее.

Потребность непосредственно действовать, открытой борьбы еще сдерживается внутри себя.

Утро 27 апреля. Рабочий клуб закрыт. Направляюсь к месту „явки“—союзу печатников. Через улицу, вижу, шагают ребята с пачками, плотно завернутыми в газету под мышками. Обменялись кивком головы и быстрым взглядом.

В союзе уже кипит работа. Без шума, лишних разговоров, регистрируются и удаляются. Всех отправляем на „Парапет“—благо погода хорошая—„прогуляться“. Дал строгий наказ не собираться группами. „Парапет“ становится лагерем наших резервов.

Не в пример вчерашней горячке — деловито-строго и как-то странно протекает работа.

К часу нужно было зайти в Рабочий клуб. Парадный ход закрыт. Нужно пройти через двор. Для предосторожности решаю обойти квартал и с другой стороны пройти в ворота. Подходя к клубу, вижу открытую дверь; на всех сторонах квартала стоят по несколько шпиков. И у самых ворот маячит один, вшиваясь глазами в каждого проходящего мимо.

А двух-этажное здание клуба молчаливо, безмолвно и как-то возвышенно гордо стоит, охраняемое шпиками.

Конечно, внутрь войти не удалось...

В обед связались со штабом. Сдали списки. Получили приказ: „Ждать распоряжений. Десятники обязательно прислать в 9 час. вечера по указанному адресу“.

Вечером я отправился на собрание политкомов „Красного креста“. На нем мы еще только столковывались, какие лечебницы нужно захватить, сделав их санитарными пунктами. Условились, что завтра утром нужно будет доставить в эти пункты незаметно мешки с медикаментами и перевязочными материалами.

Особенно важен был вопрос о питании. Хлеба заготовлено было мало. По заданиям главного штаба нужно было рассчитывать на 3—4 дня прекращения выпечки хлеба из-за предполагавшихся боев.

Решили поставить об этом в известность главный штаб и приступить к работе... Несколько товарищей остались на квартире, где было совещание о том, как ему за эту ночь распределить все медикаменты и перевязочные материалы для намеченных санитарных пунктов.

Я же получил задание подготовить захват университетской клиники, только что оборудованной, но еще не открывшейся, а также организовать летучие отряды и связать их с моим пунктом. Расходясь, условились завтра в 12 часов (если бы мы знали, что будет завтра в это время!) собраться для выяснения некоторых еще окончательно не разрешенных вопросов. Часов в 11 вечера, вы-

ходя из квартиры товарища, я решил направиться ночевать в студенческое общежитие, которое помещалось в здании университетской клиники.

Долго, часов до 3-х ночи, ходили мы по длинному темному коридору общежития, совещаясь с товарищами о плане захвата клиники, выясняя все возможности и случайности. Там же мне удалось найти с десятков тов. студентов-медиков, которые должны были быть санитарями и фельдшерами.

С мыслью о том, что завтра в 6 час. утра я должен пойти в 19-й лазарет, в ячейку союза, для организации летучих отрядов, я, усталый, заснул в одной из комнат, на голом столе...

Вскочив утром в 7 часов, злясь и досадуя, что потерял время, я решил зайти сначала в союз печатников (мы вчера условились, что в 7 час. утра там уже должен быть один из членов партии).

От университетской клиники до союза печатников — кварталов 10. Я быстро шел по улицам, встречая людей, спешно идущих на базар. Проходя мимо базара, я видел обыкновенную нормальную картину утреннего оживления, толкотни, шума и крика. Влетаю в союз печатников. Никого. Входит какой-то товарищ и на мой вопрос, не знает ли он, где остальные и почему открыто помещение и никого нет, — как-то удивленно смотря на меня, отвечает: „В Рабочем клубе“.

Направляюсь туда. Ничего не могу понять: знаю, что клуб должен быть закрыт, но почему-то все там.

„Что-нибудь да случилось“, — думаю я и ускоряю шаг.

Пройдя „Парапет“, я вдруг лицом к лицу сталкиваюсь с тов. Недоступенко, членом союза из боевого десятка, стоявшим с винтовкой в руках.

Остолбенел... Мысли спутались... Едва, кажется, успел пробормотать: „В чем дело?“ — „Беги скорее в клуб, наши уже взяли власть“... Дальше я его уже не слышал, что-то помимо моей воли бросило меня вперед. В эти две

минуты, что я бежал или летел по направлению к клубу, мысли завертели: „Переворот... Наши взяли власть... Когда?... Как?... А еще вчера готовились.“¹⁾

И вдруг все стало ясным.

Что-то радостное захлестнуло совсем меня—как бы вырвалось то, что так долго сдерживалось. Свершилось. Красные знамена развевались над клубом, по мостовой промчался грузовик с вооруженными рабочими. Я вбежал в клуб.

Т 24 5/80

Сергей Джапаридзе

ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

В истории развития коммунистического движения молодежи Грузии первомайской демонстрации 1920 года в Тифлисе суждено занять одну из наиболее ярких ее страниц. Как один из ее участников, я постараюсь нарисовать во всей широте как картину этой демонстрации, так и события, предшествовавшие ей, дабы осталась навсегда памятной в истории КСМГ.

Март-апрель 1920 года были месяцами энергичной подготовки к вооруженному восстанию коммунистов и, как следствие этой подготовки, эпохой радужных надежд на свержение меньшевистского ига и провозглашение Советской Грузии.

Если партия подходила к этому вопросу с присущей ей выдержкой, то Комсомол при первых же начинаниях подготовки к вооруженному восстанию был охвачен тем энтузиазмом, коим молодежь всегда отличалась от „стариков“. Если теперь между Комсомолом и партией легла определенная организационная грань, то таковой в эти годы не было и Комсомол представлял собой неразрывную и, я бы сказал, наиболее решительную и активную часть компартии.

Уже один тот факт, что почти вся техническая работа партии исполнялась Комсомолом, ярко свидетельствует об его деятельности.

¹⁾ Баку был взят частями Красной армии без боя в ночь на 28 апреля 1920 г.

Печатание прокламаций, распространение их, поддержка связи между организациями—все это лежало на плечах Комсомола. Наши ребята настолько наловчились в распространении прокламаций, что безнаказанно клали их в карманы меньшевистских министров,—и вообразите, в какую физиономию вытягивались их лица, когда вместо платка они вынимали из кармана свежую, еще пахнущую красками прокламацию. Конечно, хотя это имело свою прелесть, однако, как таковая, как я уже сказал, не удовлетворяла молодежь. Мы ждали дела. Настроение было самое боевое... Наступило 1-е мая...

По постановлению руководящих партийных кругов решено было выступить и произвести демонстрацию. А это и нужно было Комсомолу. Все члены Комсомола должны были выйти на демонстрацию, и дело за нами, конечно, не стало. Первого мая, еще не рассвело, как я уже был на ногах, и хотя, конечно, знал, что еще никого нет на улице, быстро пошел на Головинский. Вскоре появился Амас с Левой. Гайоз был в Оссетии членом повстанческого комитета. Степа отсутствовал. Через некоторое время начали стекаться все активные работники: Т. К., Гурген, Восстаньянц, Андрюша Паньян, Моссе Цинадзе, Женя Захарян и другие. Местом нашего сбора был назначен рабочий дворец, возле которого остановились три грузовика, на которые мы все, конечно, и „погрузились“, но пока вели себя мирно, ожидая начала процессии.

Несомненно, особоотрядчики знали, что за „народ“ сидел на грузовиках, и они нас могли снять с них, но, очевидно, они хотели вызвать нас на демонстрацию, чтобы покончить с нами. Скоро показалась процессия, и, как только она поравнялась с нами, на наших грузовиках взвились знамена:

„Да здравствует Советская Грузия“.

„Да здравствует Советская Россия“.

И море прокламаций посыпалось в толпу. Вся обывательщина, наплыв которой особенно в этот день был

колоссален, с ужасом смотрела на „предателей“ и агентов большевиков и Энвер-пашу, которые в такой момент решились выступить против меньшевиков.

Речи произносить не было никакой возможности. Ее удалось произнести лишь Моссе Цинадзе, который потом сразу скрылся из глаз особоотрядчиков.

Мы ограничились лозунгами, и нужно было видеть, какими свирепыми глазами смотрели меньшевики на нас, готовые растерзать нас на куски.

Разъяренные, с пеной у рта, кричали они: „Долой предателей родины“, „Долой агентов Энвера“, ибо, привыкнув получать деньги от Антанты, они хотели представить и нас, как продающих свою „родину“.

Однако нас мало смущала их свирепость. Наши автомобили медленно продвигались ко дворцу, где мы хотели „показаться“ на глаза Ною Жордания и палачу Грузии Рамишвили. Однако, как видно, меньшевики решили, что это слишком большая „дерзость“. Уж одно то, что в демонстрации принимали участие около 600 человек, не „разбойников“ и „воров“, как они именovali всех коммунистов, а вполне „чистой“ публики, озадачило.

Терпение их лопнуло. Когда грузовики приехали к собору, нас окружила пожарная команда — стало ясно, что они думают разогнать нас струей воды; однако, как видно, потом им захотелось испытать силу своих рук, и они решили взять нас атакой.

„Атака“ началась со всех сторон, и нужно сказать, что она была стремительной.

В „атаке“ принимали участие все „профессиональные“ особоотрядчики, милиционеры и любители — лавочники, студенты и всякий сброд.

Цель „атаки“ — захватить всех в „плен“ — не удалась, ибо почти все прыгнули с автомобилей и скрылись в толпе, но зато досталось на „орехи“ всем тем, кто зазевался и не успел прыгнуть и скрыться в толпе. Мне никогда не приходилось видеть такого остервенения.

Били чем угодно — прикладами, рукоятками и оставляли лишь тогда, когда добивали до бесчувственного состояния.

Публика вся шарахнулась и стеснилась на тротуарах. Картина получилась очень интересная. Весь Головинский был очищен от публики. На этом очищенном проспекте двигались окровавленные демонстранты. Вели их поодиночке, под сильной охраной, как уголовных преступников. И тем ярче становился страх меньшевиков перед наступившей на них опасностью.

Водворили нас всех, задержанных во 2-м комиссариате, в жалкой конурке, рассчитанной на 3—4 человека; нас же было 27 человек^а.

Обыскивал нас гордость меньшевиков Пачулия, и какой брани только ни слышали мы от него. Он был вне себя, наверное, опасаясь, что Рамисвили не погладит его по головке за то, что он „допустил“ демонстрацию. Вечером, в 6 часов, окольными путями нас вывели в Метех.

Как только мы вступили туда, „старики“ приветствовали нас Интернационалом: хотя меньшевики за два дня до этого всех товарищей отправили в Кутаис, очевидно, уже предвидя новую „добычу“.

В Метехе остались лишь больные товарищи: Мгеладзе (умер), Залико Гикодзе, Палавандов, всего 11 товарищей. В Метехе мы разместились по-домашнему, с твердой надеждой, что не сегодня завтра „наша возьмет“, ибо бой между меньшевиками и советскими войсками шел уже у Пойлинского моста, который был взорван меньшевиками.

Однако 7-го мая нас огорошила телеграмма о том, что Советская Россия признала независимость Грузии, и война, к временному счастью меньшевиков, кончилась.

13-го мая „сам“ Кедиа объявил нам об амнистии, и мы все вышли на свободу, чтобы вновь продолжать борьбу за установление советской власти в Грузии.

Так прошло 1-е мая. И лишь теперь мы можем сказать, что первомайская демонстрация воочию показала как нам, так и нашим врагам, что мы — сила, с которой нужно считаться.

Она придала еще более бодрости и уверенности молодежи, жаждавшей борьбы. Теперь мы торжествуем, победа осталась за нами, и залог этой победы таился всегда в нашей решительности и настойчивости. Они никогда не покинут нас.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
О. Эрдберг.—Зажгите спичку	3
Н. Н.—Четыре версты	7
Мунни.—Из старого блокнота	18
О. Эрдберг.—Две недели	24
Н. Н.—Двустовка	36
О. Эрдберг.—Коктебелский съезд	40
О. Эрдберг.—С нахрапу	46
Москалов.—Памяти 9-й	49
Н. Н.—Ислям	52
Процесс 17-й	68
Я. Монис.—Расклейка прокламаций	74
В. Ирайний.—Подпольная страда	81
Ф.—Накануне	89
С. Джапаридзе.—Первомайская демонстрация	97